



ОЛИМПЫЙСКИЙ ДИСК

ЯН ПАРАНДОВСКИЙ



ЯН
ПАРАНДОВСКИЙ



ОЛИМПИЙСКИЙ ДИСК

JAN
PARANDOWSKI



DYSK OLIMPIJSKI



Czytelnik
Warszawa 1977

ЯН
ПАРАНДОВСКИЙ
и
ОЛИМПИЙСКИЙ
ДИСК



Перевод с польского
В. Акопова и Я. Лотовского



«Физкультура
и спорт»

Москва ● 1980



Scan AAW

Парандовский Я.

П 18 Олимпийский диск: Роман. Пер. с польск.—
М.: Физкультура и спорт, 1980.— 219 с., ил.

Роман известного польского писателя Я. Парандовского рассказывает об олимпийских играх древности. Увлекательный сюжет, множество интереснейших деталей, касающихся жизни и быта, существа древнегреческой атлетики, помогут читателю узнать о жизни далекого прошлого.

П $\frac{60901-056}{009 (01)-80}$ 8—80

ББК 75.4
7А.02

4700000000

© Предисловие и перевод на русский язык издательство
«Физкультура и спорт», 1980 г.

«Олимпийский диск», роман известного у нас и очень популярного в Польше писателя Яна Парандовского, был впервые опубликован в 1933 г. и с тех пор переведен на многие европейские языки. Остроувлекательный сюжет романа сочетается со множеством любопытнейших фактов и деталей жизни, быта древнегреческого мира, взятого в момент его головокружительного взлета к высшему его пику, в канун высочайшего расцвета, во всей красоте напряжения возмужавших сил, но уже с зародышами тех процессов, которые впоследствии привели его к падению.

Чем был для Эллады V век до н. э., можно представить, вспомнив три открывающие этот век вехи, три священных для всякого эллина слова: Марафон, Саламин, Платеи. Что, как не своеобразное свидетельство духовной зрелости, являли собой эти три громкие победы маленького народа над неисчислимыми полчищами персидского царя Кира? Марафон — это героический порыв, воспоминание о котором наполняло гордостью сердца. Саламин продемонстрировал более удивительный пример гражданского мужества и самоотречения: афиняне, вдохновляемые Фемистоклом, оставили свой город, храмы богов и могилы предков, бросили без сожаления все свое имущество и, отослав женщин, детей и стариков в другие города, все как один взошли на корабли, чтобы в море защищать общеэллинское дело. Саламин был примером жертвенности и мудрого расчета. И, наконец, Платеи, в сражении под которыми впервые объединенные — в настоящем смысле этого слова — силы греков нанесли окончательное поражение персам. Нация осознала себя как целое, человек ощущал свою свободу, право на счастье, на центральное место на земле.

Особый интерес — и редкость — для сегодняшнего читателя являет то, что все это представлено в «Олимпийском диске» через спорт, все страсти собираются в одном фокусе — олимпиаде 476 года до н. э., первой после сражения под Платеями. Весь узел событий завязывается вокруг естественного центра повествования — Олимпии, неотвратимо влекущей к себе, зовущей голосом всеобщего мира и братства, манящей живым символом высвобожденных сил и гармонического совершенства.

Читатель получит органично поданную в фабуле массу интереснейших деталей, касающихся истории олимпиад, существа древнегреческой атлетики. С напряжением будет наблюдать он поединок двух атлетов — двух систем — свободного выражения бьющей через край жизненной силы, избытка душевной и физической энергии, для которой спорт — лишь одна из прекраснейших ипостасей жизни, и зарождающегося в недрах гармонического и насквозь «спортивного» общества профессионализма, трезвого и холодного расчета, способного так много дать спорту в виде отдельных рекордов и достижений, но неизбежно лишаящего его всеобщности и органичности.

Читатель не только переживает весь накал спортивной борьбы, спортивных страстей, как говорится, не только увлеченно станет следить за развитием сюжета — он как бы окунется в живую жизнь далекого прошлого, проникнется его красками, движением, говором.

Краткий словарь, приведенный в конце книги, поможет читателю разобраться в древнегреческой терминологии.





СВЯЩЕННОЕ ПЕРЕМИРИЕ

В бесподобной чистоте афинского утра голос спондофора звучал глубоко и величаво. Городской трубач приглушил перед ним гомон толпы, скликанной на рассвете. Светлый прямоугольник рынка беззвучно вбирал заповедь великого праздника.

В третье полнолуние от летнего солнцестояния, в элейском месяце парфении, Олимпия примет состязающихся и зрителей. Всякий свободнорожденный грек имеет право участвовать в играх, если он не запятнан убийством, не отмечен проклятием богов. И весь мир должен быть волен от преступлений, не обогрел кровью, не потревожен лязгом оружия, а более всего — элейская земля и священная Зевсова роща, и время, и место игр. Священное перемирие.

Старые слова, казавшиеся еще внушительнее в торжественном ладе речи олимпийского жреца, в семьдесят шестой раз возвещали священное перемирие, которое на заре истории заключили и скрепили надписью на бронзовом диске древние, как легенда,

цари: Ифит из Элиды, Клеосфен из Писы и Ликург Спартанский. Перед мысленным взором слушающих вставляли литеры надписи, змеившейся спиралью по бронзовому кругу от кромки к центру божественным узором вечности. Уже три столетия каждые четыре года сияющая лента стадиона перечеркивает ярость и распрю, выбивает мечи из рук и собирает противников к общему алтарю. Вот уже двенадцать поколений Олимпия, отсчитывая луны, в это единственное магическое полнолуние утверждает мир.

Речь спондофора с каждым словом разоружала области, города, горы и побережья. Эллада, раздробленная на сотню мелких государств, замкнутых границами, стенами, валами и насыпями, живущих в обособленности своих законов и обычаев, отворяла вдруг свободное пространство вдоль дорог и троп, которые велением богов становились безопасными. Это веление обезоруживало даже разбойников из горных ущелий, даже варваров, не признающих религии Зевса, поскольку каждый грек обязывался преследовать всякого, кто насилием вздумал бы преградить путь в Олимпию. Наступала година всеобщего мира. Объявленный весной, он должен был длиться до осени, объединяя два священнейших времени года: когда небо дает обеты и когда выполняет их.

Спондофор стоял на груде обломков, которую его величаява фигура и достоинство сана превращали в мраморный пьедестал. От агоры осталась лишь геометрическая иллюзия четырех пересекающихся углов. Среди обугленных стволов платановой аллеи весна едва давала о себе знать. В прозрачном воздухе серая скала Акрополя возносила темные пепелища храмов. Запах извести и свежего кирпича исходил от скоропелых мазанок и городских стен, которые виднелись там и сям сквозь пустоши стертых с лица земли улиц. Они возводились на диковинном фундаменте из случайных камней, разбитых колонн, раздробленных на куски статуй. В ход пошло все, что осталось от былых Афин. Охват стен расширялся соразмерно будущему величию города.

Народ, собравшийся на рынке, был запущен, бос, в темных рабочих, перепоясанных ремнями хитонах. Но жрец вслушивался в трудолюбивый ритм города, словно слышал в нем отзвук молотов Судьбы, и, окон-

чив свою речь перед этими людьми, долго еще не опускал десницы, словно стоял перед собранием царей.

К спондифору подошел проксен Элиды, уполномоченный по олимпийским делам перед лицом богов и афинских властей, и подал ему руку, чтобы ввести его в пританей. Это было наскоро сколоченное сооружение, какое только и мог осилить уничтоженный персидским пожаром город. В пустом полутемном зале горел костер, вечный огонь Гестии. Вошли пританы, с ними было несколько архонтов и довольно много членов Совета.

Олимпийский посол достал из-под одежды золотую чару и зачерпнул вина из стоящего тут же жбана. Главный архонт принял от него фиал и выплеснул вино в костер. Следом за ним другие архонты, один из пританов, и проксен, и вновь сам спондифор наполняли чашу вином и выливали его в огонь; пламя приугасло, чтобы через минуту с новой силой вырваться из трескучих поленьев. Во имя Гестии, вечно таящейся в огне, во имя Зевса — хозяина Олимпии, во имя Паллады — покровительницы города вступали Афины в священное перемирие.

Тем временем на рынке вспоминали о последней олимпиаде. Она прилась на момент, когда Ксеркс перешел границу Греции (480 г. до н. э.). Из Спарты и Афин летели отчаянные мольбы о помощи, призывы к совместной обороне, горизонт полыхал заревом пожаров. Но две трети греческого мира отгородились от войны своими горами и морями, обезопасились перемирием с персидским царем, и несколько государств как ни в чем не бывало выслали в Олимпию атлетов и процессии. В тот самый день, когда нагой труп Леонида повис на кресте в распахнутых настежь Фермопилах, в Олимпии увенчивали победителей в беге и прыжках. Дым сожженных Афин, должно быть, смешался где-то в небесах с дымом олимпийской гекатомбы.

Эти горькие воспоминания повторялись вполголоса, обрывками, намеками. То здесь, то там крепкое словцо осуждало никчемность человеческую. Называли олимпийских жрецов, поминали богов — горечь бурлила на грани кошунства. Внезапно воцарялась тишина, и головы беспомощно свешивались над неискупленными грехами недавнего прошлого.

Вдруг кто-то подал мысль, что именно Саламин был наградой за соблюдение великого праздника. Мысль была новой и непростой; в нее, однако, не пытались углубиться, предпочитали держаться на ее радостной поверхности. Сознание победы вот уже четвертый год становилось все живее, оно пьянило как вино, возбуждающе и победоносно. Среди сурового труда, под тяжестью глыб на постройке нового дома или над свежевспаханной бороздой изуродованного поля происходило то, что и сейчас произошло: люди замирали, как бы пораженные внезапной радостью, бешено вдруг хохотали, кричали, пускались в пляс, многие вдохновенно запевали песню, судорожную, как всхлип. Невыразимые, смутные желания набухали в каждой клетке, хотелось есть, пить, нагишом бороться в песке, мир казался не больше стадиона. Землю можно было метнуть, как диск, по Млечному Пути!

Выйдя из пританея, спондофор был изумлен радостно-шумным возбуждением толпы, той самой толпы, которая приняла его строгим молчанием.

— Клянусь Афиной! — сказал проксен. — Это будет невиданная олимпиада. В великое время мы живем.

— Я опасаюсь, — ответил жрец, — что многие не приедут. На Фивы и Фессалию рассчитывать нельзя.

— Изменники наверняка останутся дома. Ты бываешь у них?

Спондофор удивленно взглянул на него:

— Разумеется. Перед Зевсом все равны. Богу безразличны наши свары.

Около полудня, подкрепившись в доме проксена, спондофор двинулся в путь. Ехал он на телеге, запряженной мулами, и высокий жезл глашатая, воткнутый в сено, которым была выстлана телега, открывал ему дорогу в суе пригородного тракта. Его ждал север Греции: Беотия, Фокида, Эвбея, Фессалия, где он возьмет корабль, чтобы обойти на нем фракийское побережье и закончить свою миссию в Византии.

Тем временем два других спондофора сзывают города востока и запада. Избранные из благородных элейских родов, боковы посланники связывают нити всеобщего единения вокруг Священной рощи. Один из них, двигаясь через Ахайю, Этолию, Эпир, при-

станет к берегам Сицилии, а после долгого странствия по богатым городам Великой Греции навестит и тех, кто живет на краю мира: жителей Марсилии и Гадеса. Другой же, которому выпала дорога через Мессению и Лаконию, поведет свой корабль от острова к острову в Эгейском море и от порта к порту в Малой Азии.

От торных путей, которыми двигались спондофоры, ответвлялись дороги, тропы, тропинки, бегущие в глубь страны, и весть, передаваемая из уст в уста, разносилась повсюду. Она приходила к рыбакам, склоненным над сетью; она поднимала, как волна, корабли, стоявшие в бухтах на якоре; ее принимали однажды вечером караваны во время привала в пустыне. Незнакомые люди приветствовали друг друга этой заповедью. О ней говорили на виноградниках, и в полях, и в каждом жилище.

Зашевелились палестры и гимнасии — все, сколько их было — может, тысяча, а может, больше, — на всем пространстве греческого мира. Кто пойдет? Кому доверить честь города? Когда нужно отправляться? На эти вопросы было сто ответов, чем больше говорилось слов, тем сильнее все запутывалось, старшие добавляли сомнения, в отдаленных местах речь шла о дорожных расходах, кое-где все зависело от местных властей. Мучительное беспокойство растравляло душу обещаниями, надеждами. Закончив упражнения в сумерках, никто не смел покинуть арену, и молодежь напряженно перешептывалась, устремив глаза на звезды, как будто из сверкающего их молчания должен был низойти приговор судьбы.

Однако здесь и там находился кто-нибудь настолько независимый и решительный, что отправлялся сам по себе, едва услышав весть спондофора. В пути он встречал других, и уже где-то в окрестностях Мегары набралась порядочная группа.

Это была легкая и белая процессия, облачко на дороге, бегущей над голубизной Коринфского залива. Ни мешков, ни узелков, ни повозок; шли они в вольной воле ног, не привыкших считаться с расстоянием, в неприхотливости губ, находящих прохладу в родниках и принимающих пищу из рук гостеприимства или случая, в бесподобной беспечности своего возраста, поверяющего заботу о ночлеге нагретому ве-

сенним солнцем лесному мху. Рассветы скользили по горам, сумерки притемняли море; никто не знал, сколько их было — пять, шесть, — и Элида, не скованная стенами, приняла атлетов в свое горячее лоно как-то пополудни.





КРАЙ ВѢЧНОГО ЕДИНЕНІЯ

Земли Элиды занимали западную область Пелопоннеса, выходящую на Ионическое море тремя заливами с плоским, безжизненным побережьем.

Ни один порт не нарушал своей сутолокой тишины, как бы сотканной из рыбацких сетей. Единственно на севере Гирмина и Киллена уберегли в песках две пристани, где могли на худой конец бросить якорь корабли с Ионических островов, из Сицилии и с дальнего Запада. Море оттесняло Элиду от своих дорог. Песок, который несло морское течение, и густой ил, влекомый Ахелоем — большой этолийской рекой, долгие века осаждались на этой окраине Пелопоннеса, покуда не закупорили ее наглухо, не размыли в лагуны и болота.

Обитал на них упрямый рыбацкий люд, изнуряемый болезнями, беспомощный перед ордами кровопийц-насекомых, борьбу с которыми он доверял богам. Святилища Зевса-мухолова, увешанные приношениями, были полны примитивных рисунков, по-

вествующих о чудесных погромах нашествий перепончатокрылых. Волны подмывали малые храмики Посейдона, почти всегда запертые.

За этой унылой полосой лагун и песков простиралась волшебная страна, как бы нарочно укрытая от лазутчиков с моря. Равнина волновалась пологими холмами, которые к востоку громоздились все круче, чтобы закрыть, наконец, горизонт грядой Аркадских гор. Где-то там, среди оврагов Эриманфа, находились истоки Алфея, который, освободившись в центре страны от тесных ущелий, принимал в себя воду Ладона и щедрым потоком нес живительную влагу.

По берегам этих рек, среди сотен ручьев и потоков, расстилались благодатные долины, возносящие песнь зреющих хлебов на самые склоны холмов. Всевозможные деревья, от серебристого тополя, пришельца с неведомого севера, до пальмы, проросшей на месте одного из биваков финикийских корсаров, находили здесь почву и воздух, нужные их корням и древесине. Невысокие холмы благоухали хвойными лесами. Бисс, чудесный хлопковый куст, созревал лишь в этой части Греции. Вековечное богатство стад коней и мулов отразилось в мифе о конюшнях царя Авгия. Виноградная благодать была столь явственна, что именно сюда вера элейцев поместила род и отчизну Диониса.

В эту страну плодородия и тишины, зеленых долин и ласковых холмов пришельцы погружались, как в сон о золотом веке. Нигде никаких стен; ни крепость, ни замок не задерживали взора. За неимением камня здесь строились из глины и сушеных на солнце кирпичей. Низенькие домики, беленные известью, украшенные цветным фризом над дверью, светились в дубравах, на виноградниках, в садах. Иногда они сбегались вместе, чтобы образовать селение, но чаще всего разбредались по полям, не заботясь даже о близости к дорогам, и стояли на отшибе на едва видимых нитях протоптанных тропинок. Невозмутимая тишина царила над землей; при виде чужаков люди отрывались от работы, заслоняли глаза козырьком ладони, и время свободно текло над их неспешным трудом. Все здесь выглядело более легким, чем где бы то ни было: дыхание, шаг, вес предметов; и труд казался не столь тяжким на этих полях, которые уже начина-

ли шуметь хлебами, в то время как в других областях Греции лишь проклевывались всходы.

Вдоль дорог шагали столбы с изображениями Гермеса, в рощах и лесах были рассыпаны алтари Афродиты и Артемиды, при каждом источнике имелся алтарик либо пещера нимф. Деревья, сплетаясь кронами, протягивали друг другу развешанные на ветвях дары. Тот, кто попадал сюда из стран, едва оправившихся после недавней войны, всей грудью вдыхал воздух земли, лежавшей, чудилось, под крылом божьим.

Этот блаженный покой, казавшийся милостивым даром небес, на самом деле был завоеван кровью и насилием.

У южных границ Элиды лежала Олимпия, предмет векового спора. Некогда она принадлежала Писе, крохотному государству, протянувшемуся узкой полосой вдоль нижнего течения Алфея. Покуда олимпийская роща была священной землей двух-трех соседних общин, ничья зависть не посягала на эти скромные и тихие места. Здесь совершали обряды и жертвоприношения после жатвы, здесь чтили древние божества: Гею, Кроноса, Рею, скрывающую свое дитя в горной пещере. В урочные дни устраивали игры, на которых цари Писы определяли победителей и раздавали награды. Но со временем игры прославились, священность этого места посылала свои лучи все дальше, появился первый из храмов — Герайон, воздвигнутый городом Скиллунтом.

В результате долгих интриг царь Писы вынужден был отдать половину своей власти над Олимпией царю Элиды, и теперь оба они предводительствовали играми. Писа была слабосильна, Элиду поддержала Спарта. Именно тогда было придумано священное примирение, которое узаконило мир на время игр, установило четырехлетний промежуток между ними и определило правила для состязающихся. За вечное единение поручались три царя: Элиды, Писы и Спарты; договор был вырезан на бронзовом диске и торжественно помещен в Герайоне под опеку богини. Еще Аристотель видел этот древний кружок, на котором под слоем окиси можно было разобрать имя спартанского Ликурга.

Несколько веков длилось спокойствие. Правда,

Элида получала все больший перевес, но еще по-старому два союзных царя восседали над олимпийским стадионом. Наконец, не стало царей. Оба государства одновременно сменили строй, власть перешла к олигархии знатных родов. Управление играми было поручено двум сановникам, называемым элланодиками. Ими непременно становились потомки старинных родов, наследники героев; на время празднеств они обряжались в царский пурпур. Угасавшая Писа принимала уже во всем этом самое ничтожное участие; в ней исподволь накапливалась горечь, и однажды неосмотрительный порыв привел к войне. Элида смяла соседей, древняя столица, лежавшая на взгорье в нескольких стадиях от Олимпии, была сожжена дотла, и постепенно в памяти людской стерлось даже ее название.

Новое, раздавшееся элидское государство с удобством расположилось в долинах трех рек: Пеней, Ладона и Алфея. Оно не испытывало никаких потрясений, не вмешивалось в чужие дела, по его тучным полям даже не повеяло тем духом авантюризма, который гнал переселенцев со всех концов Греции за море осваивать новые колонии. Казалось, история этой земли навек уснула в тени олимпийской оливы.

Пробудил ее лишь голос персидской войны. Господствующая олигархия не поддержала призыва к общенациональной обороне. Она вознамерилась ждать, чтобы в последнюю минуту примкнуть к победителям. Расчет был столь точен, что элидские отряды оказались под Платеями уже по окончании битвы. Победители-греки как раз приступали к жертвоприношениям и дележу добычи. Опоздавших союзников высмеяли, это был позор на глазах у всего мира. Элидское войско вернулось домой с чувством стыда и измены. Этими настроениями воспользовалась демократическая партия; она овладела взбудораженными мыслями — и свершился государственный переворот. После падения олигархии возник союз общин, должности стали выборными, все решал Совет Шестисот, по примеру Афин проводились народные собрания.

Но это не изменило жизни в стране, которая не пожелала отказаться от своего деревенского уюта. Люди сидели себе по виноградникам и полям, не за-

ботясь об управлении страной, не слишком беспокоясь о своей столице. Значение ее выросло лишь в год олимпиады, поскольку здесь находилось управление играми. Вместо двух наследных элланодиков теперь избирались девять — по одному из каждого элидского колена. Период их деятельности продолжался четыре года и заканчивался месяц спустя после игр.

В этом году была первая олимпиада новых элланодиков. Их избрали из граждан, чей достаток давал гарантию свободы и независимости. Почти все граждане имели понятие о гимнастике и состязаниях, но эти отличались большим, чем прочие, знанием дела. Несмотря на это, недоверчивость не позволяла оставить их без поддержки опыта и традиций. Поэтому были оставлены двое из прежних элланодиков, которые должны были помогать им своими советами. Они не имели никакой власти, но для этих двух старцев, чья жизнь протекала среди состязаний и которые не понимали мира вне стадиона, было достаточным утешением, что в своей новой должности «стражей закона» (так это называлось) они смогут уберечь мудрость веков среди сумятицы молодого, безоглядного времени.





ПОРА ОЛИВЫ

Элида, столица элейской земли, лежала в глубине страны, над Пенеем. Разбросанная наподобие деревни, она скрывала свои кирпичные домишки в садах и рощах. В более застроенных районах жизнь вертелась вокруг проблем, связанных с гимнастикой. Ей же служили торговля и промысел города. Сквозь раскрытые двери можно было видеть ремесленников, занятых изготовлением дисков, копий, гальтер, кулачных ремней, скребниц. Лавки с оливковым маслом тянулись длинной шеренгой, конец которой смешивался с лавками гончаров; улица была уставлена судами для масла — от маленьких арибаллов и бомбилиев до огромных двуручных амфор, вмещающих многомесячный запас. Поблизости прохаживались или же сидели на скамеечках старые атлеты, ожидавшие, не наймут ли их в тренеры. Они затевали беседы с молодыми людьми, ошеломляли их своим знанием сортов масла и всякой гимнастической утвари.

Но атлеты, которые явились в этот день, нашли

дома запертыми, улицы пустыми, и не у кого было спросить дорогу в гимнасий. Они сами отыскиали его, заметив огромное, обнесенное стеной пространство. Однако они не попали в ближайшие ворота, ведущие от реки сквозь улицу Молчания, и кружным путем добрались до рынка. Здесь они внезапно очутились в центре возбужденной толпы.

Весь рынок шевелился, странно перешептывался, сдержанно гудел. Затем все вдруг стихло, и с запада послышалось пение.

В этой части агоры стоял храм Силена, а за ним — небольшое здание, лишенное украшений и колонн, покрытое плоской кровлей. Оно напоминало каменный куб. Низкие бронзовые двери, зеленые от окиси, были закрыты, а засов перевязан шнуром, затянутым на множество узлов. Именно перед этими опечатанными дверьми группа из шестнадцати жриц пела следующий гимн:

Приди, о бог весны Дионис!
Вступи в элейский храм!
Тебя ведут белоплечие хариты;
Я слышу стук твоих копыт,
Высокоchimый бык, высокоchimый бык!

Песнь повторялась многократно, все нетерпеливей и исступленнее, она почти превратилась в крик, как вдруг внезапно оборвалась. Толпа оцепенела, все вглядывались в дверь святыни.

Жрицы стали снимать шнур, каждая по очереди распутывала один из узлов. Последняя отодвинула засов, и три из них вошли вовнутрь. Тишина на рынке стала весомее и глубже. Вскоре три женщины снова показали в дверях, неся большие жбаны. Радость, сиявшая на их лицах, распространилась, как пламя. Послышались крики: славили Диониса.

Один из элейцев сказал пришлым:

— Это наше дионисийское празднество. А это наше винное чудо. Каждый год в запечатанном храме три пустых сосуда сами собой наполняются вином. Эвоэ!

И он умчался, чтобы собственными глазами осмотреть жбаны плодородия.

Атлеты с трудом пробрались к портику, которым на противоположной стороне рынка открывались строения гимнасия. Рядом был дом элланодиков, су-

дей и устроителей игр. Молодые люди вошли в него, через минуту явился один из элланодиков и в лучах заходящего солнца стал записывать их имена. Каждый называл свое имя и имя своего отца, а также область, откуда был родом.

Один из «стражей закона», седой старичок, проявлял большой интерес к этой процедуре. Он поминутно вмешивался с вопросом, остерегал, напоминал, чтоб говорили правду. Элланодик, от которого сумерки уже скрывали записанное, начинал сердиться, но тот знай себе повторял:

— Помните: только чистая эллинская кровь и не запятнанные злодеянием руки дают право участвовать в священных состязаниях. Ваши имена, ваш род, ваша жизнь — все это будет еще проверено, мы опросим свидетелей, людей из ваших мест, и на лжеца обрушатся гнев богов.

Потом их разместили в ночлежных домах, принадлежащих гимнасию. Каждый получил только ложе, твердое и узкое, без покрывала — и ничего более. В тесной комнатке трудно было повернуться, что, в общем-то, не имело значения: спали недолго — в серых утренних сумерках все были уже на стадионе.

Олимпийские правила требовали, чтобы весь последний месяц перед играми каждый из будущих участников тренировался в Элиде. Однако приезжали много раньше, и за обол в день пользовались совершеннейшим оборудованием гимнасия. Были и такие, кто проводил здесь полные десять месяцев предписанного тренинга; неимущие делали это за счет своей общины. «Старики» выходили из ночлежных помещений нагие, что весьма удивило новоприбывших. Оказалось, что это не обычай, а простая предусмотрительность, поскольку здесь не имелось раздевалки, какая бывает при гимнасиях. Кое-кто, сняв хитон, перекладывал его с руки на руку, не зная, куда девать. Некоторые побежали обратно в свои комнатки, другие попросту оставили свернутые хитоны на траве под стеной.

«Старики» оглядывали новых. Ноги, плечи, торс так же индивидуальны, как и лица, но, свободные от маски, они откровенно показывают истинную суть человека, его намерения и возможности. Каждый из пришельцев чувствовал на себе перекрестный огонь

взглядов, которые его обмеривали, ощупывали, обшаривали. Ощущалась чуть ли не физическая боль в том месте, где чей-то взгляд обнаруживал жировую складочку или вялость мышцы. Не одному довелось услышать:

— Погоди, снимут с тебя здесь эту мягкую подкладку.

Постепенно между настороженностью новичков и грубоватой раскованностью «стариков» стали наводиться мосты:

— Как тебя зовут?

— Ты откуда?

— Где намерен выступать?

Мальчики отвечали поспешно и тихо, стояли неподвижно, опустив глаза в землю, и не умели унять легкую дрожь, когда к ним приближался чужой мужчина. Но взрослые скоро осваивались, делались разговорчивы и шумны даже сверх меры. Каждый второй, если ему верить, имел за плечами необычайные триумфы на всевозможных играх, был в шаге от пифийского лавра, лишь по вине злой судьбы ускользнула от него победа в Истмиях или в Немее. Поминутно они повторяли «эта ваша Элида» и смотрели на поле прищулив глаза, как будто сам стадион казался им здесь слишком тесным. Все непременно заканчивалось словами: «у нас в Коринфе», «у нас в Афинах», «у нас на Эгине», покуда наконец кто-то не хватил через край, заявив: «у нас в Опунте».

— Ну и что же у вас там есть, любезный, в вашем Опунте? — спокойно спросил Содам из Милета.

Опунтец Эфармост, коренастый парень, как бы набитый мускулами, вдруг осекся среди всеобщего молчания, как посреди пустыни. Он покраснел.

— В Опунте, — пробормотал он, — наш гимнасий в лесу.

— Клянусь Артемидой, это разумно. Вы можете гонять там зайцев.

Когда затих смех, который промчался над ними, короткий и шумный, как шквал, все оглянулись. Шутку отпустил какой-то незнакомец.

Он даже не ночевал в гимнасии и пришел откуда-то утром — еще видны были пояски грязи на ногах, когда он снял свою обувь. Но все сразу поняли, с кем имеют дело.

Это тот, кто бывает душой стадиона, другом и приятелем каждого, кто обезоруживает элладотиков, кто постоянно свеж и готов к любым упражнениям, кто из каждого поражения выходит богаче и непременно побеждает завтра.

Прирожденный боец пентатлона, он обладал телом, как отборное зерно, от которого отвеяли солому и плевела. В свои восемнадцать лет он находился на границе изящества и силы, еще не уверенный, к кому его причислят: к мальчикам или взрослым. Звали его Социон, был он родом из Тарента; дядя взял его на свой корабль, который позавчера прибыл в Патры.

— Я совсем не знал, как дойти до Элиды, — сказал он, и хотелось верить, что какая-то птица показала ему дорогу. — Я думал, что застану здесь больше народу, — одним взглядом он сосчитал тридцать пар глаз, даривших его доброжелательностью.

— Ты мог бы прийти вместе со мной, — отозвался Содам.

Он находился тут дольше всех. Старший брат, с которым они вместе вели торговлю, привез его осенью, в канун зимних бурь, и теперь плавал где-то у берегов Африки. Содам какое-то время был единственным чужестранцем среди сплошных элейцев.

— Я едва не состарился здесь. Потом явились эти двое из Аркадии, от которых ни в жизнь слова не услышишь.

Он указал на двух юношей, державшихся в стороне от всех.

— Не одолжит ли кто масла? — спросил Социон. — Позабыл взять с собой.

— Вот! Возьми! — раздалось со всех сторон. Он мог бы при желании выкупаться в масле, которое отовсюду протягивали ему. Афинянин Грилл стоял ближе, и Социон взял у него маленький арибалл — глиняный сосудик в форме шара с узким отверстием, сквозь которое зелеными каплями вытекала густая жидкость.

Натирали все тело — от щиколоток до корней волос. Атлеты помогали друг другу. Некоторые имели при себе рабов или старых атлетов, служивших им тренерами, — их называли массажистами, их умением восхищались. Под их руками все тело становилось

равномерно розовым, будто его искупали в утренней заре. Мальчики не могли без них обойтись, имея в их лице к тому же и опекунов, а богатого Ксенофонта из Коринфа окружала целая свита прислуги. Спартанцы посматривали на все это с пренебрежением. Закон запрещал им иметь наставников и помощников. Они привыкли рассчитывать на самих себя и с необыкновенной ловкостью натирались сами. При этом казалось, что они пустились в бешеный пляс — с такой скоростью вертелись, наклонялись и разгибались их тела в лад со шлепками рук и фырканием.

Один из них, отшвырнув пустой арибалл, высоко подпрыгнул:

— Слава нашему роду! — завопил он. — Мы первыми стали употреблять божественное масло. Мы создали гимнастику.

Содам посмотрел на него через плечо:

— Тебя зовут Эвтелидом, и если не считать имени, ты стоишь не дороже своих глупых слов.

Все рассмеялись. Обиженный за свое имя, которое он якобы наследовал от знаменитого олимпийца, Эвтелид крикнул:

— А у тебя, торгаш, всегда весы и аршин под рукой.

Содам не отрицал своего купеческого звания.

— Если пираты привезут тебя когда-нибудь в Милет, я тебя куплю за пару драхм.

Пока спартанец подыскивал ответ, на него посыпались шутки, издевки — кто во что горазд. Его просто-напросто затюкали. Только Грилл предпочел вернуться к началу разговора:

— Что значит «мы»? Ты уверен, что спартанцы изобрели гимнастику?

— Нет. Я имел в виду дорийцев.

— Уже лучше, но и это неправда. Ты знаешь, кто такой Гомер?

Снова раздался смех: как можно спрашивать об этом иначе, чем в шутку?

— При чем здесь Гомер? — ответил Эвтелид.

— Гомер всегда кстати. Но сначала ответь: не считаешь ли ты, что он был дорийцем?

Кто-то заметил:

— Вполне вероятно. Говорят, он родом из Аргоса. Поднялся такой крик, как будто в спор вмеша-

лись все города, претендующие на право быть родинной Гомера. Но Грилл, хоть и был молод, с юношеским пушком на лице, утихомирил всех своей рассудительной серьезностью:

— Да ведь у Гомера не найти ни одного дорического звука. Это наш старый ионийский язык с примесью наречия эолов.

Не только Эвтелид, но и твердолобый беотиец Патаик из Феспий понял, о чем речь. У Гомера впервые говорится об играх, он знает все виды состязаний, а поскольку он не дориец... клянусь Зевсом! Ясно как день, что не дорийцы изобрели гимнастику!

— Прекрасно, Грилл, прекрасно!

— Ты нас убедил.

— Не иди в кулачные бойцы. Жаль, если тебе расколотят башку.

— Будто всех нас швырнули на лопатки!

Его хлопали по плечам, лохматили волосы, наслаждаясь ловким, убедительным выводом, который из двух вопросов и пары фраз вылетел как стрела, бесшумно взмывшая в пространство.

Грилл подошел к Эвтелиду.

— И еще должен тебе сказать, что вы, спартанцы, ничего не значите в гимнастике. Сто лет назад вы повсюду были первыми, а сейчас самое крохотное государство имеет больше победителей, чем ваша великая Спарта. Вы задержались в прошлом и уже никогда не вырветесь оттуда. Эфоры не позволяют вам заниматься ни кулачным боем, ни панкратиом. А почему? А потому, что знают, что вам ничего не добиться, что вас одолеет всякий. Вам оставили обычную потасовку. Ты, может, и стоишь чего-нибудь, но наверняка меньше, чем стоил твой предок или тезка, этот знаменитый Эвтелид, единственный из эфебов, кто победил в пентатлоне.

Грилл говорил все это с большим запалом. Эвтелид потемнел от гнева.

— Ничего мы не значим? Клянусь Диоскурами! — выкрикнул он. — Ты еще увидишь. Счастье твое, что ты участвуешь в гоплитодроме. Упражняйся получше в беге с оружием, чтобы смог улепетнуть от моего копья.

Лицом к лицу, готовые кинуться друг на друга, они выкрикивали угрозы. Вокруг поднялась суматоха,

многие были подхвачены этим стихийным взрывом ненависти. Одни стояли за Афины, другие за Спарту. В этой перебранке кучки людей отражались бурные противоречия греческого мира; сто раз в день ссорясь из-за того, что разделяло их предков во многих поколениях, они взаимно высмеивали говоры и обычаи, отнимали друг у друга богов и героев, а в такую минуту, как эта, вступала в битву история их городов, их неулаженные споры, и в их возбуждении слышался звон мечей недалекой войны.

Социон, сложа руки, стоял сбоку. Он впервые в жизни находился в Элладе и, если не считать двух-трех дней пути из Патр в Элиду, мог нынешнее утро назвать первым на старой земле. Чувствуя себя посторонним, он унесся мысленно к родному городу, который вдруг предстал перед ним, как мираж в пустыне.

На полукружье холмов развернул Тарент веер своих улиц, сбегających к пристани. Длинная коса отгородила его от открытого моря, которое вливается в залив узкой горловиной. Тысячи лодок кружат по заливу, люди наклоняются за борт и тянут сети, полные рыбы. Там и сям сваи, вбитые в дно, обозначают отмели раковин-пурпурниц. У причалов стоят корабли со свернутыми парусами, и Социон, родившийся на расстоянии полета диска от порта, видит самого себя — как он считает мачты и по узорам на носу, по грифонам, птицам и сфинксам определяет, из каких сторон пришли корабли. А вот речка Галис, темная среди желтых полей. На первом ее изгибе под городом стоит гробница Фаланта, основателя Тарента.

Социон никогда не мог понять эту историю, в которой смешались и первая мессенская война, и какой-то заговор, и крушение всего, оттого лишь что Фалант не надел шлема, что должно было служить условным знаком; и люди, припадающие к алтарям в молитвах о милости, и еще другие люди, бегущие из страны, и женщины, которые вечно назывались «девами», хотя у них были дети, — все это путалось у него в голове в невообразимую мешанину насилий и бед, и одно только было отчетливо: корабль, полуразбитый страшной бурей, входит в благословенный залив, Фалант выскакивает на берег и поцелуем берет эту землю во владение.

Фалант был из Гераклидов, его дружина — сплошь

спартанцы, спартанская кровь течет в жилах Социона. Но ни одна частичка его не дрогнула, когда Грилл оскорблял Эвтелида. Спокойный и безучастный, он стоял рядом с этой сварой, как живой символ Тарента, глядящего из-за своей бухты на бурю, которой его не достичь. Наконец, он крикнул им, будто со сторожевой башни какого-то лучшего мира:

— И долго вы намерены шуметь?

Первым опомнился Содам, весь еще разгоряченный союзом с Афинами. Постепенно все успокоились, вернулись к натиранию, и даже Эвтелид нагнулся за своим арибаллом, где не было уже ни капли. Каждый пережевывал слова, которые не успел выкрикнуть. Совершенно неожиданно молчание прервал Тимасарх. Юноша происходил из знаменитой семьи эгинских музыкантов, и чистота его голоса несомненно перевешивала его бойцовские способности. Не смея участвовать в споре взрослых, он остался при самом его начале и теперь повторял стихи из «Илиады», в которых поэт воспевает игры на могиле Патрокла.

Все замерло, руки перестали скользить по телу. Слушали прикрыв глаза, чтобы как можно лучше, как можно явственней увидеть троянскую равнину, груды камней, которая служила метой, и колесницы, готовые к бегу.

Пятеро героев держали поводья: Антилох, Диомед, Менелай, Эвмел и Мерион, будто пять сторон Греции вступали в спор: Мессения, Арголида, Лакония, Фессалия и Крит. И когда возницы окутались пылью, в душах слушателей затеплилась молитва, каждый желал победы своему краю, чуть ли не веря, что можно повернуть течение стихов, уже несколько веков неизменное. Но вот Эвмел вылетает из колесницы. Менелай сдерживает коней среди болота, слышится пронзительный крик Антилоха, и наконец золотистогнедые жеребцы Диомеда задымились паром победного пота.

Затем шли кулачные поединки, в которых Эпей раскровавил Эвриала, и была борьба (так и не рассуженная) между Аяксом и Одиссеем, и забеги, в которых Антилох оказался последним, и метание копья, и стрельба из лука, и железное ядро, которое Полипойт перекинул через все поле.

Из этих древних слов неизменно вставали все те же игры — состязания в ловкости, силе и воле, и величаявая гордость наполняла сердца при мысли, что каждое движение нынешних атлетов было проверено и запечатлено в мышцах героев, в золотой славе легенды, перед лицом богов. Кровь пульсировала гекзаметром. Время повернуло вспять. Рассказ Нестора о соревнованиях в Вупрасии осенился элейским небом. Вупрасий был неподалеку, в одном дне пути, а казался еще ближе, все приблизилось. Троя расположилась на холме над городом, гимнасий стал лагерем греков. Сладостный страх не позволял оглянуться, спина вздрагивала от ощущения чьего-то таинственного присутствия: никак Ахилл восстал из могилы, расположенной у входа в гимнасий?

Кто-то и в самом деле крикнул сзади. Это был Гисмон, один из элланодиков, начинавший день тренировок.





НА «СВЯЩЕННОЙ БЕГОВОЙ ПОЛОСЕ»

Атлеты перешли на «священную беговую полосу».

Так называлась часть гимнасия, предназначенная для бега, метания диска и дротика и для прыжков. Она имела форму прямоугольника. Место старта обозначала глубокая борозда, другая такая же имелась на противоположном конце у меты, меж двух деревянных столбов. Две борозды замыкали длину стадиона — шестьсот стоп по олимпийской мерке, установленной некогда по ступне Геракла.

Раб принес элланодику длинную розгу с развилиной. Гисмон подозвал новоприбывших и велел им разделиться на мальчиков и мужчин. Возникло некоторое замешательство: не все одинаково расценивали возраст. Во многих краях кроме мальчиков и взрослых различались еще «безусые», и Социон принадлежал именно к таким. Главк с острова Хиос растерянно стоял опустив руки, так как у него на родине атлетов делили на пять возрастов. Но в Олимпии в мальчики засчитывали от пятнадцати до восемнадцати

лет. Социон в итоге был причислен к взрослым, Главк же — к мальчикам. Гисмон руководствовался скорее сложением и физической зрелостью, нежели возрастом, который не укладывался ни в какую отчетливую хронологию.

Выбрали первую четверку мальчиков. Гисмон осмотрел их позицию на старте. Ноги нужно было соединить, правую стопу чуть отодвинуть назад так, чтобы она большим пальцем касалась левой подошвы, колени слегка согнуть, туловище немного наклонить вперед.

— Голову держать прямо, правую руку вытянуть, как для приветствия.

Глаза элланодика с точностью циркуля мерили все эти наклоны и сгибы, сдерживаемое нетерпение копилося в костях возраставшей усталостью, человек увязал в этом ожидании и терял всякую надежду когда-нибудь добежать до меты.

Наконец возглас «Апитэ!» (Марш!) взорвал тишину как удар грома.

Их не отпустили дальше нескольких шагов. Свистнула розга, опускаясь на чью-то спину, и вся четверка была отозвана обратно. Из стихии бега возвращались как из шумящего потока, в полной растерянности, никто не понимал, что случилось.

Старт был слишком резвый. Прежде чем они ухватили дыханием момент, откуда начинался свободный бег, элланодик вызвал новые пары. Несколько забегов состоялось, но Гисмон был недоволен. Одних он отругал за то, что не умеют бежать по прямой линии и, раскачиваясь в стороны, теряют несколько движений, у других заметил слишком длинный шаг при старте; двое или трое быстро уставали, обнаруживая этим небрежение в тренировках.

По синим, мертво разинутым ртам можно было узнать губительное напряжение, рука хваталась за сердце. Бедняга Тимасарх, который по недосмотру элланодика бежал дважды подряд, с последним прыжком у меты зашатался, сумел кое-как добраться до стены, но здесь у него закружилась голова, руки скользнули по камням, он упал наземь и его вырвало. Социон помог Мелесию, тренеру мальчика, перенести его на траву.

Гисмон стал назначать четверки мужчин, и Социон оказался в первой же. Пробовали диавлбс: добежав до меты, нужно было повернуть и бежать к месту старта. Казалось, это сверх человеческого терпения: задержать свой бег у меты, повернуться, вновь занять стартовую позицию и мчаться обратно. Один преждевременно тормозил, чтобы не выскочить за мету, другой поворачивал так резко, что натыкался на соседа, и вообще, все были слишком возбуждены, чтобы сохранять надлежащую осанку.

«Старики» посмеивались, глядя на отчаяние «новичков», убитых строгостью олимпийских правил. Каждый из них уже пережил подобные минуты, когда казалось, что ты ничего не знаешь, ничего не умеешь, что будто впервые в жизни очутился на стадионе, и впадаешь в такое оцепенение, что не слышишь команд, и внезапный свист розги лишь усугубляет твою подавленность.

Грилл вернулся из своей четверки запыхавшись, но в полном восторге.

— Клянусь Афиной, — шепнул он, — это настоящая работа. У нас после войны не осталось ни одного приличного гимназия.

— А говорят, что в Афинах лучшие наставники? — тоже шепотом спросил Содам.

— Точнее сказать: были лучшие. Все перебрались на Эгину, там платят полновесным золотом. Вон видишь Мелесия, который массирует своего мальчишку? Год назад он был еще в Афинах.

Они умолкли, услышав голос Гисмона. Элланодик отчитывал кого-то из бегунов. Он говорил, что одной скорости мало, что животные быстрее человека, вряд ли кто-нибудь сможет потягаться с оленем. Но только человек способен превратить бег в произведение искусства. В любой момент бегун обязан выглядеть так, что, окаменей он внезапно, он должен явиться глазам во всей красоте позы, движения, лица, не перекошенного судорогой.

До полудня испытали еще несколько разновидностей длинного бега. Рабы убрали столбы у меты и закрепили посредине каменный цоколь, который следовало огибать. Кругов было семь и двенадцать. Мальчики в этих забегах не участвовали, некоторые из взрослых отказались из-за усталости.

В самом долгом беге отличился Эргофил. Содам был удивлен:

— Ты говорил, что родом из Гимеры. Слово чести, я впервые вижу сицилийца, который так хорошо бежит.

— Я недавний гражданин Гимеры. А родился я на Крите.

— Это сразу видать, — сказал Содам. — На твоём острове рождаются самые лучшие бегуны.

Но другие захотели узнать, отчего он покинул родину. Эргофил говорил об этом неохотно. Были там какие-то смуты, борьба партий, во время которой убили его отца Филанора. Все слушали с сочувствием. Тяжело тот день, когда человек отрывается от своей земли, покидает прах отцов, опеку своих богов, свой неповторимый мир, которого уже нигде и никогда ему не найти. Вот он говорит: «Мне бы выиграть венок, чтобы утешить душу моего бедного отца», — а все думают про себя: «Возможно разве, чтобы душа Филанора покинула свою могилу, перебралась через море и в новом, незнакомом доме сына коснулась этого самого венка? Впустят ли ее боги Сицилии?» Все молчат и глядят мимо Эргофила, как будто за его спиной простирается бесконечная туманная пустота.

Но он не догадывался об их мыслях; должно быть, у него все давно было решено. Счастливый тем, что оказался в центре внимания, и приняв их молчание как знак сочувствия, он пустился рассказывать о своем путешествии, о своих планах на будущее. Он собирался после Олимпии объехать ряд местных игр, надеясь в гимнасиях и по пути завязать знакомства, которые обеспечат ему покровительство на чужбине. Ему отвечали: «Само собой», «Несомненно» — никто не хотел прерывать раздумья лишним словом. Как только выяснилось, что Эргофил критянин, все в нем стало наводить на размышления.

Кожа смуглей, чем можно приписать действию южного солнца, нос слегка вздернут, специфическая сухощавость, несмотря на развитые мускулы и хороший рост, и, наконец, нечто не поддающееся определению в глазах или форме уха, нечто неуловимое, как бы принадлежавшее не самой фигуре, а вибрировавшее где-то в воздухе, который ее окружал, — все это еще не доказывало его чужеродства, но все-таки

легкая тень пролегла между ним и товарищами. Критянин называл ноги «акара», выражал восторг восклицанием «дройон!», и все молча смотрели на его тонкие губы, на их артикуляцию, в которой было столько неведомого и загадочного.

Эти темные минуты таили в себе воистину великую ночь забытых времен. В ней были дворцы, города, столетия труда и могущества, изящное, узкобедное, гибкое племя неведомого происхождения и языка, которое поднималось неведь откуда по ступеням цивилизации — каменным, медным, бронзовым, строило и создавало, просвещало весь эгейский архипелаг, плавало по Средиземному морю вплоть до портов Египта, имело свое богатство и свое искусство, рассказывало свою историю на тонких глиняных табличках, танцевало, пело и играло на кифаре, гоняло быков на арене, устраивало игры, сажало оливы и виноград, повиновалось царям, чьим гербом была лилия, покамест не настал день катастрофы, и все это рухнуло, провалилось в тартарары, точно было всего лишь волшебным видением.

Критянин Эргофил, родом из Кносса, стоял на вершине своего давно забытого наследия, всем своим существом, всей душой он был на том месте, где до недавнего времени стоял дом его отца на холме, высившемся над сравненным с землей дворцом царей его племени. Но он сам этого не ведал, и никто не усмотрел в нем этого, хотя все пристально глядели на него. Их отвлекли слова Социона:

— Если бы Тарент лежал на каждой из будущих твоих дорог, ты был бы всегда дорогим гостем в моем доме.

Тем временем окончились забеги, и можно было пойти подкрепиться. По запаху нельзя было определить, где кухня. Ее не было вовсе. Завтрак состоял из творога и фруктов, пригоршни маслин и краюшки хлеба. Вино было под запретом, и перекупщиков не впускали на территорию гимнасия. Получив от эконома свои порции, завернутые в фиговые листья, атлеты вернулись на поле. Социон раскрошил творог на малые кусочки и выклевывал их пальцами, как ребенок. Ел он дольше всех, на закуску оставил две сушеные фиги, от которых поочередно отгрызал понемножку. Рот его никогда не был набит, и это позво-

ляло ему болтать без умолку. Он повторял легенды всех палестр и гимнасиев о людях, обгонявших коней, об охотниках, руками ловивших оленей.

— Фейдипид пробежал из Афин в Спарту за два дня, — сказал Эвтелид.

— И нашел еще время побеседовать с богами по дороге, — вставил Грилл.

— Как это: побеседовать с богами? — спросил Содам.

— Ты на самом деле не слыхал об этом?

— Ни слова.

— Когда вестник Фейдипид бежал со своим посланием от афинских вождей, ему заступил дорогу Пан. Совсем такой, как его изображают: бородатый и козлоногий. Фейдипид испугался, но Пан ласково его приветствовал и пожаловался, что афиняне, дескать, забывают о нем, хотя он к ним очень расположен, уже немало сделал им добра и в будущем также будет полезен. Эти аркадцы, умей они говорить, подтвердили бы, что все это правда, поскольку дело было на их земле, в горах Парфениона, близ Тегеи.

Все посмотрели на двух аркадцев, которые сидели неподвижно, будто и впрямь не понимали людской речи. Грилл снова обратился к Социону:

— Когда Фейдипид рассказал об этом в Афинах, сейчас же был построен Пану маленький храм под Дворцовой Горой, прямо в скале, и теперь мы ежегодно совершаем там жертвоприношения.

— Сколько же будет стадиев от Афин до Спарты? — спросил Содам.

— Тысяча сто шестьдесят, — ответил Эвтелид.

— Да ну, чтобы за два дня... Нет, сейчас не найти таких бегунов.

— А Эвхид? — тотчас же воскликнул Патаик.

— Разве что Эвхид, — согласился Грилл. — Это великий бегун. Его послали из-под Платей в Дельфы за новым огнем. (Видишь ли, — объяснил он Социону, — у нас тогда весь огонь был осквернен персами, и нужно было взять новый из Дельфийского храма). Так вот, он побежал и в тот же день вернулся.

— Я знаю эту дорогу, — отозвался Эфармост, — тысяча стадиев туда и обратно. И какая дорога! Сплошные горы.

Разговор постепенно иссякал. После забегов боле-

ли бедра, жаркое солнце разморило всех, издалека доносился крик петухов, и от этого жара казалась еще невыносимей. Спины приваливались к прохладной стене, тела вытягивались и замирали, дремота прерывала фразу на полуслове, теплый шорох крови, взбудораженной упражнениями, нашептывал о мете, пахнувшей веткой дикой оливы.

Все очнулись от скрипа колес. Осел ташил повозку, на которой стоял пузатый пифос. Оsla вел элейский крестьянин из-под Акореи, который на рассвете спустился со своих гор и теперь, в самый полдень, предлагал свежую воду в глиняной, плотно закупоренной бочке. Его окружили с веселым криком. Он приподнял крышку и, зачерпнув кубок, подал первому Содаму, которого знал дольше других. Каждый из атлетов прежде всего ронял несколько капель богам, делая это как можно бережней, чтобы осталось побольше.

Вода! Сказочная кровь земли, бесцветная и чистая, как ихор, текущий в жилах богов. Неведомой тайной из-под камней и песка бьет родник в ритме стучащего сердца. В ничтожной складке огромного тела Матери-земли живет наяда, словно капля росы на шершавой коре дуба. Весь труд своей жизни посвящает эта крупница божественного прядению неиссякающей жидкой нити — о, благословенная паучиха! Вот оно, тело прозрачной богини, прохлады ее нетронутой красы, вкус ее влажных губ; заключенная в этом кубке, она проникает в человека, живая и бессмертная, вечно неизменная, единственная.

Осушив кубок, каждый на мгновение задерживал дыхание, словно боялся спугнуть проникавшее в него божество.

Отдых кончился. Появился флейтист, раб, который играл на авлосе во время прыжков, метания диска и дротика. «Старики» знали его и окликали по имени — Смилакс. В ответ он кивал головой, маленький, тихий, путавшийся в складках длинного цветастого хитона. Принесли гальтеры — гири для прыжков.

Они большей частью были новые, из железа, купленные в Элиде, и напоминали челнок или четвертушку яблока с выеденной сердцевинкой — для удобства хвата. Они на самом деле были удобны и совершенны. Но кое-кто имел старые — полукруглые,

серпообразные куски камня. От долгого пользования выемка сгладилась, и рука ерзала в ней; их форма тоже оставляла желать лучшего. Никто, однако, не расставался с такой памятной вещью. Их наследовали по отцам и дедам, и верилось, что не только их тяжесть уносит тело в прыжке, но и духи предков окрыляют его летучим своим присутствием. Если не всякий мог похвастать чем-то подобным, так в этом были виновны войны, пожары или же предки попросту забрали с собой в могилу любимый снаряд, а не то принесли в жертву богам в храме как память о бывших победах.

Социон же с гордостью показывал два неуклюжих свинцовых комка, которые при каждом прикосновении чернили ладони.

— Мне было семь лет, когда отец достал их из сундука и дал мне. При этом он всплакнул изрядно. Потому что раньше ими пользовался старший брат, который умер.

И Социон вторично в этот день оказался в Таренте. Вот широкая загородная дорога, по обеим сторонам уставленная гробницами. Среди них высокой каменной плитой возносится стела, на которой виден барельеф юноши с диском. Диск большим белым кругом сияет рядом с головой, и кажется, будто улыбающееся лицо брата появляется прямо из полной луны.

Подошел элланодик, Смилакс приложил флейту к губам и извлек из нее несколько звуков пифийской мелодии. Гисмон первым вызвал прыгать Содама.

Крепко ухватив гальтеры, Содам сделал несколько быстрых коротких шагов, походивших на прыжки, приостановился на каменной плите. Затем резким рывком вскинул гальтеры на уровень лица, а потом энергично опустил вниз, одновременно наклоняясь всем телом вперед, так что свисавшие руки были ниже коленей. В следующий миг он вновь вскинул гальтеры и взлетел в воздух, будто унесенный силой их тяжести. Он летел по длинной дуге, перегнувшись в пояснице, вытянув руки вперед, и в последний момент резко кинул их назад, чтобы пробросить себя еще дальше, и затем приземлился.

Длину прыжка обозначили чертой на песке. Гисмон определил ее в пятнадцать стоп. Это было неплохо для почина, но дальше пошло хуже. Раз за ра-

зом следовали неправильные прыжки. Один, приземлившись, не устоял на месте, другой и вовсе свалился, некоторые в полете расставляли ноги, и черта Содама так и оставалась в одиночестве. Достиг ее лишь Социон. Элланодик велел ему повторить.

Он не прыгнул дальше прежнего, но не в этом была суть: он мог служить образцом позы, движения, полета.

Несколько мгновений, насыщенных его усилиями, целиком сливались с сопровождающей их музыкой. С первым выдохом разбега он входит в ее ритм: соединение ног на толчковой плите, два полукруга разогнанных гальтерами рук, отрыв от земли — все это связано контрапунктом со звуками авлоса. Траектория прыжка возносится легкой, пологой дугой, кажется, что невидимая ее линия — это натянутая струна, зацепленная за некую определенную точку впереди, которая манит и чарует. Последний рывок, отбрасывание рук назад происходит с такой соразмерностью движений, будто вовсе и не висит он в воздухе, будто не подчинен стремительному полету, будто на долю секунды он нашел там, в пустоте, опору, надежную и твердую, как земля. А дальше он — всего лишь груз, который падает. Кажется, что он спит, глаза его закрыты, под тонкими веками обозначилась выпуклость роговицы, длинные ресницы бросают на щеки тень. Приземлившись, он слегка пружинит и удерживается от следующего шага всей силой напряженных икр, а затем, будто и вправду пробудившись ото сна, раскидывает руки, и грудь его вздымается от глубокого вдоха.

Элланодик внимательно рассматривал его, пока взгляд его не задержался на поясах грязи у щиколоток. Атлеты, которые с гальтерами наготове ждали своей очереди, подошли ближе. Никто никогда не слыхивал, чтобы руководитель тренировок, будущий судья соревнований, выделял кого-нибудь похвалой. Розги и порицания удерживали всех в абсолютном равенстве, важно было, чтобы никто не проникся преждевременным чувством превосходства. Между тем Гисмон обратился к Социону.

— Ты сегодня пришел? Издалека?

— Из Вупрасия. Днем поспал, а к ночи вышел.

И больше ни слова не проронил Гисмон, однако

у них совершенно недвижима: ее связывала вековая наследственная чуткость, чтобы не потревожить случайной неосторожностью веток в зарослях. Их дротики пролетали чуть не треть стадиона.

Содам, проводивший с ними долгие месяцы и каждый день наблюдавший это совершенство, всякий раз не мог удержаться от изумленного возгласа:

— Клянусь Гераклом, хоть всю жизнь учись, а с ними ни за что не сравнишься!

— Да, — сказал Эфармост, — но одним дротиком в Олимпии многого не достигнешь, а они, похоже, ничего, кроме этого, не умеют.

— Кто знает. Они неплохо бегают и прыжок наверняка наладят. С таким багажом уже можно пробиться в пентатлон.

Подбежал Эвтелид.

— Никак не привыкну к здешним дротикам. У нас в Спарте дротик остроконечный и его мечут в цель. На столбе висит щит с нарисованным глазом. Мне случалось попадать в самый зрачок с расстояния сорока и более стоп.

— Клянусь Афиной! — шепнул Грилл Социону. — А еще говорят, что спартанцы никогда не лгут.

День, точно яблоко, разделенное на пять долей, заключал в своей последней части, от предвечерних теней до сумерек, самый сладкий кусок — борьбу. Мысль об этом способна укрепить среди отчаяния напрасных бросков, неумелых прыжков, неудач с диском и дротиком. Какое наслаждение выбиться наконец из череды монотонных, размеренных усилий и возродиться вновь, стать самим собой в объятиях противника! Только что ты был мимолетностью, которая пропадает бесследно; среди сотен движений, подобных твоим, ты исчезал, рассеивался быстрее, чем туман перед острием свистящего дротика; а теперь ты вновь будешь существовать всей массой своего тела, и другой человек ощутит весомость твоего присутствия и почтит тебя самым живым вниманием.

Едва им велели перейти в тетрагон, в дверях при выходе со «священной беговой полосы» образовалась давка.

Обрамленный низкой стеной, лежал перед ними серо-желтый квадрат песка. Эта часть гимнасия, вы-

ходившая на запад, была наполнена солнцем. «Старики» тут же бросились наземь и стали кататься в песке. Остальные последовали их примеру, поднялся крик, смех, туча пыли повисла над тетрагоном. Мелкий песок приставал к натертым маслом членам, из пыли возникали странные фигуры, нагота исчезала под серой грязью. Элланодик концом розги указывал еще не обсыпанные места, в особенности на плечах и лопатках. Нужно было досуха обтереть масло.

Затем была вызвана первая пара. Двое наклонились друг к другу немного наискось, вытянули руки и почти одновременно сделали захват. Гисмон что-то крикнул, они не поняли, и только розга их разъединила. Мир сразу же потускнел.

Элланодик хотел определить, какой силой и умением располагают вновь прибывшие. Поэтому он не позволял бороться всерьез, а пробовал по очереди все приемы, унаследованные от богов и героев. Предания гимнасиев хранили советы Афины, излагали способы, какими Геракл одолел Антея, Тесей — Керкиона, Пелей — среброногую Аталанту, и все это обсуждалось, как вчерашняя схватка, скульпторы запечатляли моменты борьбы на барельефах, горшечники рисовали на амфорах и чашах.

Гисмон то и дело подавал отрывистые команды: два-три слова. Произносимые на элейском наречии, они не всегда и не всем были понятны, чаще всего их разумели по какому-то наитию, которое возникало из тревожной пустоты за спиной, вибрирующей шелестом розги. Противники сходились и расходились, хватали друг друга за руки, за шею, за бедра; это были фрагментарные движения, точно живые иллюстрации к терминам.

Всякий раз возвращались в основную стойку. Ноги по щиколотку вязли в песке, крючились пальцы, будто желали ухватить землю, все тело кряжисто оседало на расставленных ногах, спина и плечи выгибались аркой, голова уходила в лопатки. Колени, подрагивающие от сдерживаемого нетерпения, напряженный взгляд, готовность протянутых рук — все это выражало молчаливую драму так и не состоявшегося поединка. Гисмон внимательно исследовал мышцы икр и бедер, коленные связки. Маленький Главк сразу пошатнулся, едва Тимасарх поймал его запястье. Эл-

по группе атлетов пронесся вздох. Это были многозначительные слова. Они выражали самую суть, должную оценку увиденного, поскольку речь шла не столько о красоте прыжка, сколько о неосознанной молчаливой и скромной стойкости юного тела, которое после долгого пути, после двух забегов на стадионе сумело отжаться со всей неисчерпанной свежестью троекратному порыву гальтеров. Каждый ощутил горячий прилив радости и гордости, будто увидел Социона на щите и сам, собственной рукой, поднял край этого щита.

Больше к прыжкам не возвращались. Элланодик велел принести диски.

Броски производились от места, называемого «бальбис» и очерченного тремя прямыми линиями — будто кто-то, рисуя квадрат, забыл нарисовать четвертую его сторону. Пространство было невелико, не шире двух ступней. Переднюю черту запрещалось не только переступить, но и коснуться пальцем ноги. Здесь стоял элланодик, и «новенькие», прежде чем стали мерить их броски, должны были продемонстрировать правильную стойку. Некоторые держались неуклюже, их отодвинули в конец, чтобы дать им немного опомниться.

Тем временем начали вызывать «стариков». Каждый из них обсыпал диск песком для лучшего захвата, вбегал в бальбис, проделывал необходимые движения и обороты и, вложив силы в последний рывок, улетал взглядом вслед за свистом металла. Броски обозначались воткнутыми в песок стрелами. Почти все они скопились в одном месте, и оперение их казалось грядкой колосьев на пустом поле. Никто не мог похвастать ощутимым перевесом.

«Новичкам», которые затем тоже вступили в игру, не везло еще больше. Они ссылались на тяжесть диска. Был он, согласно олимпийским правилам, весь из массивной бронзы и тяжелей тех, что употреблялись в гимназиях и на других играх. Социон, привыкший к каменному диску, более толстому и широкому, не мог управиться с этим маленьким скользким кружком. Нахмуренный, с растрепанными волосами, он после каждого броска открывал рот, будто собирался крикнуть, но тут же прикусывал губу, когда раб втыкал стрелу на позорно близком расстоянии.

Он забыл, где находится, хватал свободные диски, валявшиеся на земле, горячился, метал их, точно был один на поле, и в итоге розга элланодика привела его в чувство. Он съежился под этим розовым рубцом, который вспухал на спине, отскочил в сторону и засмеялся высоким веселым смехом.

Тренировка продолжалась. Гисмон выявлял несообразности в размахе рук, исправлял положение ног, учил, где должен находиться центр тяжести наклоненного тела, а тем, кто смотрел, объяснял смысл усилия по движениям мускулов, напрягающихся в момент броска. У «стариков» сердили его все те же неистребимые огрехи, на одного из тренеров он накричал и пригрозил ему розгой, если тот не устранил ошибок своего подопечного.

Наконец, он приказал собрать стрелы и засыпать их следы песком. Появился новый раб с пучком дротиков. Смилакс, который от полудня дул без передышки в свой авлос, получил кубок вина.

Дротик представлял собой прямой прут толщиной в палец и не длинней человеческого роста. Посредине был укреплен ремень со свисающей петлей. Его следовало завязывать крепко, несколько раз, чтобы он не съехал по гладкому древку. Вложив в петлю два пальца, указательный и средний, держали дротик над плечом, наизготовку. После коротенького разбега, достигнув бальбиса, метатель отброшенной назад рукой со всего размаха пускал дротик.

Здесь было трудней уследить за передней чертой, нежели при метании диска, поскольку разбегались, слегка повернув голову, чтобы не отрывать глаз от дротика, который следовало держать выше петли, так, чтобы он образовал некоторый угол с горизонталью: это обеспечивало дальность полета.

Общее внимание сосредоточилось на двух вечно молчавших аркадцах. С дротиком в руке они мгновенно преобразились в горцев и охотников. Опасности перейти черту для них не существовало, поскольку они не разбегались совсем. Выпрямившись, согнув локоть под безукоризненно прямым углом, они какое-то время как бы взвешивали колеблющийся на петле дротик, а затем швыряли его коротким движением, будто поражая зверя из засады. Левая рука, которую каждый атлет резко отбрасывал назад, была

ланодик отозвал его и велел Ксенофонту повторить тот же самый захват. Мальчик, как видно, был в нем натаскан, каждое движение рассчитал заранее, потому что прямо из основной стойки перешел в атаку. Он впился руками в предплечье, которое Тимасарх не успел убрать, и молниеносно крутанулся, намереваясь бросить его через спину. Но Тимасарх свободную левую руку просунул ему под мышку, оба завертелись юлой и упали на землю.

Элланодик отдал розгу рабу и уселся на скамью под стеной. «Старики» приветствовали это веселым гомоном. Социон, заслонив глаза от солнца, обливавшего его пурпуром, стоял посреди площадки, не понимая причин оживления. Эвтелид прыгнул на него, как дикий кот, и они сцепились. Отовсюду слышались возгласы, каждый приглашал противника, который был ему по душе. Тренировка закончилась, наступила минута свободной борьбы.

Тетрагон забурился. Два десятка пар сплетались и расходились, бойцы шарахались друг от друга, путались среди чужих, иногда продолжали борьбу с другими, потеряв своего партнера. Порой в этом был хитрый умысел, чтобы просто-напросто выкрасть себе напарника по душе. Борцовские объятия утоляли томление, которое шло от немого восхищения, радости, от тысячи смутных призывов; чье-то единственное облюбванное тело было наградой за утомительный день упражнений.

Не придерживаясь правил так называемой стоячей борьбы, они катались по земле, и временами вся площадка буквально клубилась тяжело дышавшими телами. Иногда вспыхивал короткий смех — крылатая молодость, как птица, рвалась восторгом из мускулистых тел.

Двое «стражей закона», появления которых никто не заметил, стояли у калитки. Опершись на длинные посохи, седовласые и белые, они своей абсолютной неподвижностью напоминали могильные изваяния. Не помня имен, не различая этих молодых лиц, которые раз за разом показывались из боровшейся толпы наподобие утомленных солнц, они узнавали в них бывлые олимпиады, прекрасные четырехлетия вставляли перед ними все выше и выше и терялись где-то на головокружительной высоте их собственной юности.

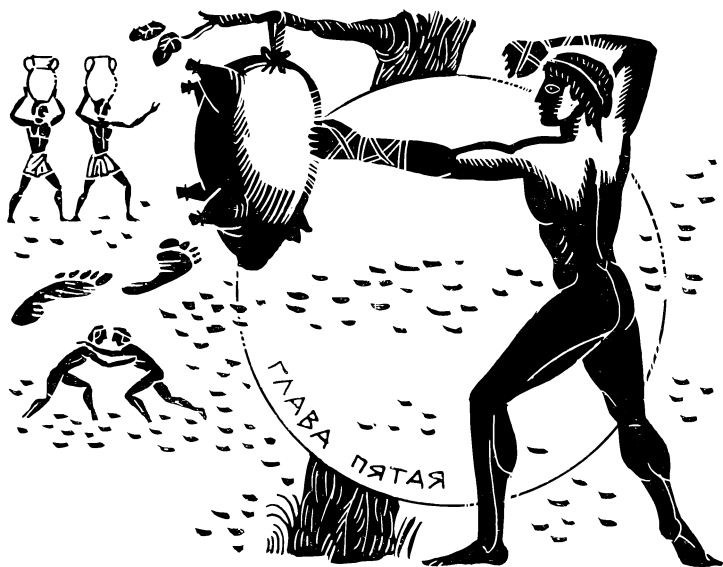
Тогда с глубоким вздохом втягивали они ноздрями острый запах пота, который казался им живительней морского воздуха.

Гисмон глянул в небо, на котором уже отполыхал вечерний пожар, и хлопнул в ладоши. Поле забурлило, из пыли и песка стали возникать человеческие фигуры, словно в первый день творения.

Все сбежались к колодцу, расположенному на другой стороне Тетрагона, в отдельном дворике. Скребицей счищали наслоения песка, прилипшего к натертому маслом телу. Патаик, перевешиваясь всем телом за край колодца, неутомимо черпал воду. Полные ведра переходили из рук в руки, атлеты обливали друг друга, раз за разом холодная струя звучным плеском ударяла в чью-то грудь или спину. Обмывались губками, некоторые пользовались щелочью. Тренеры обтирали своих мальчиков грубыми полотенцами, иные обсыхали, бегая взад-вперед.

Постепенно площадка у колодца опустела, атлеты отправились ужинать. После них остались на камнях лужи, да еще в ночных сумерках при свете звезд сновали несколько старух, подбиравших жирную грязь — мешанину пыли, масла и пота, из которой готовили укрепляющую кости мазь для хилых детей. Но вот и они исчезли, рабы заперли ворота — те, что выходили на улицу Молчания, и те, что на рынок, рядом с Ахиллесовой могилой — кенотафом.





ВСЕЛЕННАЯ

В гимнасии становилось все многолюднее. Ежедневно прибывало по несколько новичков, которые выходили из элланодикайона и, минуя поле, исчезали в жилых помещениях. Старались угадать, откуда они родом; те, кто был поближе, прямо спрашивали их об этом; по ответам отмечались все новые области, звучали названия известных городов, и часто по ним можно было судить о пути спондофора. Захолустные области отзывались глухо, некоторые названия вызывали недоумение — вращалась роза ветров, не оставляя в покое ни одну из сторон света.

Каждый торопился бросить свои пожитки, чтобы поскорей очутиться на поле. Люди из Акарнании, Этолии, Эпира всегда забывали снять дорожные сандалии, оставлявшие на песке грузные следы с рядами ямок от гвоздей. Другим нелегко было расстаться с хитомом, а сбросив его, они все же оставались в набедренной повязке.

В них узнавали жителей окраин, где греческие

обычаи смешивались с варварскими предрассудками. Самыми упрямыми были ионийцы из Малой Азии, соседи Востока. Элланодики лишь пожимали на это плечами. Абсолютная нагота была обязательна только в самой Олимпии. На пятнадцатой олимпиаде Орсипп на бегу потерял повязку и нагим выиграл венок. Случайность стала законом.

Но товарищи были менее терпимы, чем элланодики. В особенности спартанцы и прочие дорийцы, которые издавна избавились от всякой застенчивости. Они высмеивали стыдливых, обзывали их персами. Два-три мальчика, с трудом сдерживая слезы, по-детски заупрямились. Их оставили в покое, и никто не заметил, когда исчезла последняя повязка.

Нередко какой-нибудь своей странностью новоприбывшие нарушали ход тренировки. Раб-негр, сопровождавший какого-то атлета из Кирены, собрал вокруг себя целую толпу. Ему запретили показываться в гимнасии, и он целыми днями сидел в комнате своего господина и пел. Собственно, это трудно было назвать пением: боясь повысить голос, он гнусил сквозь зубы, и в моменты тишины слышалось назойливое гудение, будто большая муха толклась по стеклу. Через неделю киренец перебрался в город.

Звали его Фелесикрат. Он записался на бег с оружием, будто наперекор природе, которая его коренастую фигуру и просторные плечи явно предназначала для борьбы. Он объяснял это тем, что руководствовался не физическими данными, а традициями своего рода. Один из его предков, Алексидам, благодаря бегу завоевал руку и сердце ливийской принцессы.

— Это было в городе Ираса, — рассказывал он. — Царь Антей устроил забеги и обещал победителю свою дочь. Девушка служила метой. В свадебном наряде, с венком на голове, она стояла в чистом поле на расстоянии двух стадиев. Соревновались человек двадцать молодежи, все из хороших семейств, друзья царя. Мой прадед победил. Он на несколько шагов опередил всех, схватился за девушку, как за столб меты, и завертелся с ней волчком. Клянусь Аммоном!

Социон вытягивал из него все новые подробности, которые всех веселили. Он напускал на себя серьезный и заинтересованный вид и чуть ли не каждое его

слово сопровождал восклицаниями: «Клянусь Зевсом!» или «Неслыханно! Поразительно!» Он похлопывал киренца по спине, а когда тот выдохся и стал тайком потирать покрасневшую лопатку, вдруг сказал:

— Как не стыдно! Кто же свою прабабку заставляет вертеться волчком?!

— Ты говоришь, прабабку, но тогда это была красивейшая девушка во всей Ливии.

— Ах, в Ливии? Так что же ты сразу не сказал?

Фелесикрат прямо онемел от такой наглости.

— Надо мной смеются, — сказал он вечером своему негру.

— Они не знают, какой богач твой отец.

Назавтра Фелесикрат был первым на поле и, едва лишь атлеты собрались, пустился рассказывать, сколько старый Карнеад имеет пахотной земли, садов, виноградников, скота, рабов и кораблей. Когда добрались до амбаров, Социон воскликнул:

— Клянусь Гераклом! Остановись, иначе ты всех нас засыплешь и погребешь!

Один лишь Содам внимательно все выслушал, прикинув, что это может пригодиться впоследствии. Переменили тему разговора, и опять киренец остался за порогом их веселой жизни, почти уже стыдясь своей золотой скребницы. Но до полудня он пару раз удачно пробежал, после перерыва попробовал себя в кулачном бою, несколько его ударов запомнились, и, прежде чем кончился день, выяснилось, что и без помощи прабабки и отцовского добра можно кое-что значить на этом свете.

Это был период наибольшего оживления, вчерашний день бесследно исчезал в наплыве новых лиц. Например, такой вот Герен мог в своей тени спрятать дюжину Фелесикратов.

Он пришел однажды до рассвета, протиснулся сквозь одну из боковых калиток, которую по неосторожности, должно быть, сорвал с петель, и бродил по всем площадкам, пока наконец не попал в элландикайон. Социон, вскоре выбежавший из жилых помещений, увидел следы огромных ступней, глубоко вдавленные в землю. Было серое, мглистое утро, стояла тишина, в гимнасии не раздавалось ни звука. Тарентец огляделся вокруг: ни живой души. Его охватил

страх, какой-то детский ужас, когда сжимает горло и дрожат коленки. От этих следов, которые не принадлежали никому из атлетов, которые, как ему казалось, вообще не могли принадлежать живому человеку, веяло чьим-то грозным присутствием. «Геракл!» — вдруг пришло ему в голову, и он даже закрыл глаза — такой дикой показалась ему эта догадка.

— Нужно было меня видеть, нет, это нужно было видеть, — рассказывал он, захлебываясь от смеха, — как я там стоял! Ноги будто из глины или свинца. Стоял над этим следом, как над пропастью. Правду говорю: как над пропастью. Потому что мне мерещилось, будто он растет. Я мог поклясться, что каких-нибудь две ступни занимали весь стадион.

Выручил его Содам, который своим купеческим глазом сразу определил, что следы лишь чуточку больше мерной стопы.

— А у нас, — заявил Филон из Тираса, что в устье Буга, — показывают след стопы Геракла длиной в локоть.

Содам покачал головой.

— Сказки. Геракл был обычного роста. Нельзя верить всему, что о нем болтают по разным уголкам земли. В Олимпии, а вовсе не в каком-то Тирасе, он собственной стопой отмерил стадион, и всякий может убедиться, что она немногим больше твоей или моей.

— Но никто из нас не совершил бы ни одного из его подвигов, — пожал плечами Филон.

— Потому что никто из нас не сын бога, никого не поддерживает Афина и никто не обладает его удивительной душой. Геракл был силен, сильнее, чем можно себе вообразить, Милон Кротонский — дитя по сравнению с ним, но дело не только в силе. Это была бестрепетная душа. Он умел отважиться на все, он знал, что сделает все, за что ни возьмется. Он был стоек и вынослив, мог отправиться на край света, не думая о пище и ночлеге. Кто выдержит столько дней одиночества, как он, и при этом в горах, в пустынях, в диких местах, где каждый был ему враг? Он никогда не думал об опасностях, о силе льва или великана, с которыми сражался, он думал только о самой борьбе, о том, что нужно драться и победить.

Никогда еще Содам так не говорил. Щеки над темной бородкой зажглись румянцем, будто внутренний

огонь пылкой и страстной души, которой в нем никто не подозревал, вырвался внезапно из своих тайников. Товарищи невольно ощутили неясную робость, никто не понимал, чем вызван этот порыв: то ли затеплилась в нем божья искорка и осветила события, вокруг которых слепо блуждают людские домыслы, то ли в наболевшей искренности выявился некий его глубинный, личный опыт, какой-то разлад между желанием и немощью? Невольно все отвели глаза, давая ему время остыть.

— Но эта стопа больше олимпийской, — после продолжительного молчания сказал Грилл.

Ему никто не ответил. Все принялись за натираание, но тут внезапно вошел человек, который с расцвета занимал их мысли.

Он не обманул ничьих ожиданий. Самого высокого из атлетов — Эвримена с Самоса он перерастал на голову. Все казались мелкими рядом с этими ногами, плечами и грудью. Он выглядел диковато, весь поросший черной шерстью, с густой черной бородой и широкими косматыми бровями. По коротко остриженным волосам в нем признали борца. Первым задел его Грилл:

— Клянусь Зевсом! Ты мог бы осмолить себе эту щетину на теле.

Герен посмотрел на Грилла такими глазами, что непонятно было, удивился он или огорчился. Затем сквозь бороду пробилось несколько скрежещущих звуков, которые стали поняты лишь спустя какое-то время:

— Этого нет в правилах.

— Быть красивым — это правило постарше Олимпии, косматый.

Напрасно великан искал чьей-нибудь поддержки. Даже юнцы осмелели при виде его беспомощного молчания. Главк, разглядев несколько седых волос на его виске, крикнул:

— Что же ты так поздно пришел, дедуля?

— Он выбрался еще в год Марафона, но дорога длинная, он не успел, — сказал Грилл.

Герен действительно был родом из Навкратиса в устье Нила; он стоял среди общего смеха потупясь, морща глубокими рытвинами лоб, будто чувствовал свою вину за огромность этого расстояния. В конце

концов, Социон, добрая душа, отвлек от него внимание, хотя и сам назвал его пару раз «предком».

Никто не помнил столь многочисленных сборов. Будто все гимнасии прорвало, как плотину, и могучий поток юности хлынул в Элиду. В жилых помещениях не хватало мест, нанимали жилье в городе, которое неслыханно вздорожало. Многие ночевали в палатках. Элланодики удвоили строгость требований — лишь самые сильные мускулы и самая уверенная ловкость могли удержаться на поле. Исключенные не решались вернуться домой, они все еще вертелись там и сям, размахивали гальтерами в каком-нибудь закуте под стеной, подавали диски, измеряли полет дротика, помогали другим обсыпаться песком и были счастливы, если кто-нибудь называл их имя, которое элланодики уже не выкликали. Как правило, они не долго тешились этим призрачным существованием — растущая теснота выпроваживала их за ограду.

И вот уже весь гимнасий кишмя кишит.

От реки по улице Молчания, мимо храма Артемиды — богини, «любящей мальчиков», движется вереница борцов. У каждого на голове гидрия, полная воды. С площади, что у гимнасия, они поворачивают вправо и вступают в обширный, огороженный стеной прямоугольник. Их товарищи уже трудятся. Они вспахивают кирками землю, выбирают камешки и отбрасывают в угол площадки. Взрыхленный грунт поливается водой, покуда не превращается в густую грязь, в которой ноги утопают по щиколотку. Она ослабляет силу падения, но и таит в себе опасность поскользнуться; кроме того, тело, вывалившееся в ней, ухватить невозможно.

Это называется Мальфо, или Мягкое Поле, площадка для панкратия.

Панкратий объединяет в себе борьбу с кулачным боем. Здесь разрешены любые приемы и удары, здесь почти нет неприкосновенной части тела; удушение, выкручивание пальцев рук и ног имеют технические названия, покрытые патиной архидревней традиции.

Это настоящая мужская схватка, борьба зрелых душ и тел. Никто бы не отважился прийти на Мягкое Поле в сомнительном возрасте, с сомнительной мускулатурой или выучкой. Эпиф, проводящий трени-

ровку, почти не повышает голоса: если он прерывает борьбу, то лишь для того, чтобы дать совет или же подсказать находящемуся в безнадёжной позиции выход, которого тот не замечает.

Но сегодня он спровадил двоих из гимнаasia: одного элейца, другого из Аргоса, кажется. Их вроде бы не в чем было упрекнуть, можно было лишь строить догадки. Возможно, он заметил в них какой-нибудь признак необузданности: стиснутые зубы, мутнеющие от гнева глаза после внезапного удара? Можешь верить, что он избавил тебя от опасного противника. Такой не постесняется пнуть тебя в пах, воткнуть палец в рот, в нос, выколоть глаз. Его накажут плетьюми в Олимпии? Слабое утешение, если великий праздник кончится для тебя так бесславно.

За стеной Мягкого Поля слышен гомон кулачных бойцов. Коренастые, сильные тела с рельефной мускулатурой, массивные черепа — точно люди другой расы.

Они надевают ремни. Это узкие тонкие полоски бычьей шкуры, не выделанной, а лишь пропитанной жиром. Каждая длиной в десять локтей. Сначала связывают петлю и вдевают в нее ладонь, оставляя свободным большой палец. Потом обкручивают ремнем каждый палец в отдельности и затем все четыре вместе, но так, чтобы можно было сжать их в кулак. Наконец, ремень проходит по тыльной стороне ладони, многократно обматывается вокруг запястья и кончается где-то на середине предплечья, а кончик его закладывается под туго затянутые кольца.

Вот готова левая рука, с правой же самому не управиться.

— Придержи-ка мне ремень. Клянусь Зевсом, снова выскользнул.

— Схвати его зубами.

— Обмотай мне только мизинец.

Мальчики уже управились с помощью своих тренеров, кое-кто успел даже надеть защитную шапку из кожи, подбитой сукном, с наушниками, которые делают тугим на ухо. Агесидам, нетерпеливый, как искра, бежит в угол площадки, где на ветке дерева висит корикос.

Мешок, сшитый из шкуры свиньи и набитый песком, сохраняет форму животного с неподвижно тор-

чащими лапами. Агесидам обрушивается на него, пробуя точность и силу кулаков, и мешок принимает удары с глухим отзвуком и унылым, безжизненным колытанием.

Тетрагон дрожит от хохота. Герен вывалился в песке и стоит теперь, не похожий ни на одно из земных созданий. Но тут приходит Капр, глава элланодиков. Смех умолкает, с тем чтобы снова вспыхнуть, теперь уже в его адрес, едва он уйдет.

Его имя означает «дикий кабан», но и нечто еще другое. Сто раз на день повторяют о нем одни и те же грубые шуточки. Они приносят хоть немного облегчения в атмосфере почтения и трепета, которой заслуженно окружен этот удивительный человек.

Два-три раза на дню он обходит все площадки, нигде не задерживаясь. На ходу лишь бросит взгляд-другой, с виду рассеянный и мимолетный. Тем не менее он знает всех наперечет и замечает все, и если завтра Гисмон или Эпиф вызовет тебя и проведет рукой по бедру, можешь быть уверен, что это Капр обратил его внимание на то, что форма мышцы у тебя испорчена неправильными тренировками. Такие глаза, пожалуй, умеют заглянуть и в завтрашний день, и возникает суеверное чувство, что он уже знает имена, которые глашатай выкрикнет на олимпийском стадионе в день священного полнолуния.

Из элланодикайона вываливается новая компания. Минуя кенотаф Ахилла, каждый в знак почтения подносит к губам большой палец. Раздеваются на малой площадке, натираются маслом, физиономии у всех высокомерные донельзя. Грилл пытается завязать с ними знакомство, они отвечают небрежно, как бы демонстрируя некое превосходство своими медленными, неохотными движениями. Наконец, он узнает, что среди них есть победители недавно окончившихся истмийских игр.

«Могли бы быть и поскромнее», — думает Грилл, но их слова производят на него впечатление. За ними встает аллея высоких сосен, святилище Посейдона и стадион, лежащий в высохшем русле реки. По обеим сторонам коринфского Истма простирается голубизна моря, два пути большого мира, который стекается сюда кораблями и людским муравейником.

— Народу было, как никогда, — говорит один из них, и Грилл понимает, что трудно не признать человека, которого вознес вопль огромной толпы.

— А кто-нибудь из вас будет участвовать в беге с оружием?

— Найдется такой, найдется, мой хороший.

Внезапно у него перед носом открывают шкатулку. В ней лежит венок из сухого сельдерея, истмийский венок, увитый красными лентами. Это весомее всяких слов, и над шкатулкой тут же склоняются головы, даже Герен заглядывает с высоты своего роста. Социон же, который вдруг откуда-то вынырнул в самой гуще, берет незнакомца за подбородок и заглядывает ему в глаза всем весельем своего ясного взгляда:

— Только не забывай, что олива растет выше, чем сельдереи.

И, конечно же, весь день разговоры только об этом. Гисмон проводит с «новыми» первые тренировки, и все интересуются новостями со «священной беговой полосы».

— Ничего особенного.

— Есть один хороший бегун. Его зовут Дандис.

— Откуда?

— Вроде бы из Аргоса.

— А я говорил! На Истм сползается всякая шваль.

— Видел, как скривился Гисмон, когда ему сказали, откуда они?

— Это не потому. Здесь не принято говорить об Истмиях.

— Почему?

— Так ведется еще со времен Геракла. Элейцы связаны зарокон, и ни один из них не отправится на истмийские игры.

— Каким зарокон?

— Точно не знаю. Эта история старше, чем луна. Спроси кого-нибудь из местных.

На площадке для кулачного боя достается красавчику Алкимиду. Светлые его кудри упали на лицо, красное от стыда. Ему стыдно не оттого, что его бьют, а от слов элланодика:

— Ты ударяешь открытой ладонью, как девчонка.

Социон перебегает Тетрагон. Он останавливается, чтобы поглядеть, как Герен борется с Эврименом.

Гигант на отдыхе выглядит грознее, чем в схватке. Кажется, что его руки заняты забавой скуки ради, эти могучие руки, каждый захват которых способен удушить насмерть. Он опасается собственной силы, гнется под ее тяжестью. Элланодик беспрестанно отчитывает его, а он от этого становится все неуклюжее. Он шатается на ногах; но вдруг замечает Социона. И тут же Эвримен в воздухе и отлетает на несколько шагов.

Во дворе у колодца Меналк снимает шапку, из-под которой струится кровь. Задето ухо. Он набирает воды, смывает кровь и озирается вокруг:

— Дайте кто-нибудь клочок шерсти с теплым маслом...

На «священной беговой полосе» Гисмон заканчивает пробы с истмийцами, и по его лицу видать, что олимпийская олива и в самом деле растет высоко. В калитке появляется Социон и тут же исчезает, и уже откуда-то издалека доносится его голос: «Стадион свободен!» С ним возвращаются несколько атлетов и начинают разминку.

Ползают на четвереньках; прыгают на месте, поднимая колени до пояса; лежа на спине, перебирают в воздухе ногами; имитируют движения метателя дротика с гальтерами в руках, подбрасывают диски и ловят на лету. Эвтелид подпрыгивает, за каждым разом поддавая себе пятками в ягодичы. Он считает: — 601, 602, 603, — и, видя, что Патаик изумленно уставился на него, объясняет, не прерывая прыжков:

— У нас... это называется... бибасис... 605. И девушки... доходят... 606... до тысячи.

Агесидам из Локр хорошо поработал кулаками и теперь сидит, развалясь на траве, а его тренер Илас обрызгивает его водой, растирает ему шею и ляжки. Внезапно мальчик отталкивает его руку и бросается за Соционом. Они гоняются друг за дружкой по «священной полосе». Социон замедляет бег, останавливается, а когда мальчик подбегает, кладет ему руки на плечи и одним махом перепрыгивает через него. Вот он стоит уже среди дискоболов и, когда называют его имя, выходит спокойно, будто и не покидал рядов.

Он давно освоился с этим бронзовым кружком. Снова его черта перекрыла Содамову на полстопы.

— Ты так и к венку доберешься на моем горбу, — шепчет ему друг, и нет в этих словах ни тени зависти.

Они любят друг друга, потому что друг друга стоят. Не было бы и речи о дружбе, если бы кто-нибудь стоял на несколько ступеней ниже. Оба знают себе цену. Содам, более сильный и зрелый, в точности знает, чего может требовать от своих мускулов. Социон непрестанно развивается, каждый день в этом человеческом цветке раскрывается новый лепесток, ничего в нем нельзя предвидеть, словно его успех зависит не от стараний, а от вдохновения.

Содам обнимает его рукой так, что ладонью касается сердца. Социон непроизвольно отвечает ему таким же объятием.

— Взгляни на Исхомаха, — говорит он. — Кто бы мог подумать! Помнишь, каким он пришел, как топтался на бальбисе? Я, правда, не видел сегодня, как он бежал.

— Очень недурно, — говорит Содам и отмечает про себя то, на что не обращает внимания Социон: как Исхомах после каждого броска оглядывается, ища взглядом Социона.

С Мягкого Поля прибегает Патаик:

— Каллий сейчас дерется. Пошли, есть на что посмотреть.

— Афинянин? — спрашивает Социон. — Нет, не могу. У меня еще два диска.

— Обрати внимание на ремень. Он плохо завязан и скользит по древку.

— Я сегодня сделал три стадия.

— Нужно еще раз натереться.

— Как там Фелисикрат?

— Если бы он слушал богов, предназначивших его в кулачные бойцы, он бы добился кое-чего. В гоплитодроме он приплетется в хвосте хорошей четверки.

— Налей сюда воды.

— Я ему говорю: у тебя шея слабовата для борьбы.

— Ну и размах! Я думал, ты его до моря добросишь и придется тебе раскошелиться на новый диск.

Эргофил в одиночку отрабатывает длинный бег. Гисмон провожает его взглядом и кричит:

— Ногу поднимай чуть выше!

А потом:

— Который стадий?

Эргофил на полном ходу:

— Одиннадцатый.

Элланодик прервал схватку Каллия с Аристоклидом, которая слишком затянулась. Она была такой красивой, стремительной и страстной, если бы такое определение можно было применить к двум умелым, владеющим собой бойцам! Они разошлись улыбаясь, и каждый отдался в руки своего тренера, снимающего с него усталость. Ни один не получил увечья, оба из этой лавины сокрушающего насилия вышли с двумя-тремя синяками.

Вот истинный панкратий. Человек схватывается с человеком абсолютно нагой, ничем не защищенный, не имея другого оружия, кроме мощи мускулов, крепости костей и суставов, и оказывается, что стойкость тела абсолютно соответствует силе ударов, которые можно нанести рукой или ногой.

Капр входит на «священную полосу». Одна из четверок закончила короткий бег, оставив следы на свежеразровненном песке. Элланодик скользнул по ним взглядом и отошел.

— Что он там увидел?

Несколько бегунов бредут краем дорожки, будто ищут редкие раковины, выброшенные приливом.

— Смотри: на каждые три их шага этот делает два.

— Клянусь Зевсом!

— Кто бежал справа?

— Скамандр из Метилены.

Эфармост, выступающий только в борьбе, не борется, а играет с Соционом, участником пятиборья. Он позволяет ему все.

— Кувыркайся себе как угодно, — говорит он. — Социона это выводит из себя, он собирается, и в момент, когда партнер особенно с ним небрежен, валит его на землю. Но опунтец тянет его за собой, обвиняет рукой, будто узловатам канатом, и прижимает к песку.

— Я мог бы тебя так держать, покуда всю «Илиаду» не прочтут, — ухмыляется он, — и ты не встал бы, как Гектору не встать со своего костра.

А Социон лежит, хотя Эфармост уже отпустил его. Он чувствует лопатками острые зернышки песка, песок заполняет позвоночную бороздку, по всему телу

растекается досадное ощущение проигрыша. Слова Эфармоста, которых он уже не помнит, оставили над ним тьму огромного, унылого безвременья. Он облизывает пересохшие губы, горькие на вкус. «Это вкус поражения». Он готов укрыть себя стадионом, как хленой, и спрятаться под ней с головой, как ребенок, который боится ночных призраков. Он открывает глаза: над ним огромное небо в закатном янтаре. Когда он встает, его пробирает дрожь — будто он наступил на собственную могилу. Он перепрыгивает ее, бежит: — А-ля-ля!

Только сон в течение короткой летней ночи утихомиривал это воплощенное движение. Бледный расцвет, проникая в его комнатку сквозь узкое отверстие в стене, напоминавшее бойницу, подбрасывал его, как внезапно распрямленную пружину. Социон вскакивал с постели, в несколько прыжков скатывался по лестнице, шумел, орал — и его вопли мгновенно, как пожар, охватывали весь дом. И на протяжении дня он был живой иллюстрацией мысли Гераклита, утверждающего, что огонь одухотворяет человеческие существа. Казалось, что вокруг него дрожит воздушное марево, точно он и вправду раскален. От него заигались души и тела. Элланодики не помнили такого азарта, такого пыла, какие царили сейчас на всех площадках. Люди, поначалу заурядные, созревали, точно растения, перенесенные под благодатное небо.

В своем непрестанном движении гимнасий напоминал вселенную с ее круговоротом. Посредине находилось ядро — группа сильнейших атлетов, орбита Социона. Принадлежать к ней, дышать воздухом жарких схваток, жить в атмосфере истинной доблести становилось мечтой каждого, кто, наскоро положив свои вещи в доме для жилья, впервые озирает стадион. Но можно было ждать месяц и не дожидаться момента, когда один из этих полубогов подойдет к тебе, щедрым словом удвоит цену твоего труда и обнимет тебя за плечи, будто набросит почетную пурпурную накидку. По краям этого блистательного круга толклось множество таких, как Фелесикрат, которых все еще держали на расстоянии шутки.

Несколько дальше в своем кругу находились мальчики, у которых имелись собственные созвездия и планетные системы, — мир, удивительно прекрасный

в своей неприступной скромности и полный сателлитов — старых, чутких тренеров. В разных местах — у бегунов, кулачных бойцов, панкратиатов, борцов — восходили мелкие звезды переменного блеска, иногда появлялись кометы, которые за несколько дней приближались к центральному ядру и затем исчезали в неизвестном направлении.

А на самом горизонте, словно пояс Млечного Пути, роилась единообразная толпа, настоящее меси-во тел, чьих имен не знал никто.





ИККОС ИЗ ТАРЕНТА

В какой-то день из этой толпы выделился новый атлет. Социону о нем было сказано:

— Там есть кто-то из твоих краев, из Тарента.

Юноша пригляделся к нему: перед его мысленным взором замелькали отрезки улиц, кусок стены над садом, палестра среди фиговых деревьев, заливчик с привязанной у берега лодкой, наконец, будто узнав в толпе знакомое лицо, он воскликнул:

— Иккос!

Тот обернулся и протянул ему руку.

— А ты вырос, — сказал он.

— Мы расстались еще в палестре. Но ты, кажется, старше меня.

Пушок покрывал щеки Иккоса, в остальном с виду они казались одногодками. Губы Социона дрогнули, но шевельнувшие их слова остались не произнесенными. Иккос сказал:

— Да, я уже год, как перебрался в Кротону. После смерти отца. И мать со мной. Я работаю в гимна-

сии Тисикрата. Старик взял меня в помощники, и можно как-то жить. Вот сейчас он даже оплатил путевые расходы.

— Но ты записался...

— ...как тарентец, конечно. У меня ведь там дом, участок земли и опекуны. Клянусь Гераклом, я еще вернусь и посчитаюсь с ними.

Социон опустил веки, не выдержав тяжелого, недоброго взгляда светло-карих глаз Иккоса.

— Ты где намерен выступать? — быстро спросил он.

— В пентатлоне.

— Значит, снова будем вместе.

И Социон, попрощавшись улыбкой, умчался на чей-то зов.

История Иккоса, однако, началась лишь с полудня. Во время общего обеда он ел рыбу. Это была самая что ни на есть обыкновенная рыба, рыба как рыба, но если бы стадион превратился в озеро с тритонами и nereидами, это не вызвало бы такого изумления.

— Откуда он взял рыбу?

— Если ты хочешь сказать, что он поймал ее на удочку, почистил и сварил, то я тебе не поверю, — сказал Грилл. — Откуда взял? Ему принес мальчишка, который служит у него массажистом.

— А ты видел? — спросил Патаик.

— Нет, наивная ты душа. Разве нужно видеть, чтобы понять такую пустяковину?

Пустяковину! Грилл называет «пустяковиной» тот факт, что атлет, который сегодня только явился, после целого утра упражнений нашел время послать мальчишку в город, чтобы разнообразить свой обед, на что не отважился никто за несколько месяцев. Тут же возникало множество вопросов. Когда он об этом подумал? Куда, не зная города, послал мальчишку? Откуда знал, что именно подадут на обед в гимназии? И наконец: на кой ему понадобилась эта рыба, да еще так срочно, что он не мог потерпеть с ней хотя бы до завтра?

Все молчали. Старались даже не глядеть в сторону Иккоса, а кто украдкой все же взглянул — увидел, как тарентец отдает мальчишке тщательно обглоданный рыбий хребет, чтобы тот его куда-нибудь выбросил.

Теперь стали следить за мальчишкой, надеясь отругать его, если он бросит не туда, куда следует. Но он вышел из гимнаasia, и все почему-то поняли, что он без ошибки отыщет мусорную яму. Это их тоже кольнуло. Такая рассудительность и аккуратность заключали в себе нечто обидное, каждый почувствовал себя задетым, вспомнив свои первые несмелые и неуклюжие дни.

Припелся ослик с бочкой воды. Глиняный кубок пошел по кругу, ледяная струя поглощалась одним духом, пустой сосуд возвращали с вечным чувством неудовлетворенности. Иккос, получив в свою очередь кубок, не тронулся с места, а как лежал, так и поставил его рядом с собой на песок. Атлеты переглянулись: неужто ему кажется, что он возлежит на пиру? Каллий, чья очередь была после него, почти крикнул:

— Давай скорее, другие тоже ждут!

Иккос вроде бы удивился.

— Пусть вода немного согрется, очень уж холодная.

Никто своим ушам не поверил. С рыбой, хоть и было непонятно, как-никак дело житейское, каждый может судить на свой лад. Но сомневаться в воде, принимать с недоверием бесценный дар богов, которого вечно не хватает на этой горячей земле, — это уже настоящее кощунство. Кое-кто не удержался и выложил ему все напрямик, не выбирая слов, терявших свой смысл от крика, — такая всех охватила внезапная злость.

Иккос был просто поражен всем этим. Он пристал, взял в руки кубок.

— Гермесу, — сказал он и выплеснул чуть ли не всю воду на землю. Осталось на какой-то один глоток. Он выпил, но было замечено, что, перед тем как проглотить, подержал воду во рту.

После него пил Каллий, не отрываясь, залпом.

— Когда-нибудь простудишь себе желудок, — сказал ему Иккос.

Впервые он вызвал у них смех.

— Ребята, мы ошиблись! — кричал Грилл. — Мы приняли его за атлета, а он врач.

— Дай мне что-нибудь от зубов!

— Может, у тебя есть чудодейственная мазь для ног, чтобы бегать быстрее?

Более запальчивые тут же пустили в ход самые обидные клички. «Колбасник!», «Кожевник!» Ему рекомендовали торговать овощами на рынке. Наконец, кто-то одним словом — «Сапожник!» столкнул его на самое дно общества.

Сапожник — это бледнолицый субъект с искривленным позвоночником, это обитатель тесной каморки, в которую не проникает воздух, это существо, которое вечно сидит, и его жалкий облик представляет ужаснейшее зрелище неподвижной, погубленной жизни.

Никто из присутствующих, правда, не пренебрегал трудом. Многие из него вышли и должны были к нему вернуться, но в этом монастыре плоти они ощущали себя выше мира людей, которые работают, хлопчут и пекутся о завтрашнем дне, которые пересчитывают деньги, продают и покупают, которые живут в обычных домах, спят под теплой хленой, продлевают день скудным огоньком коптилки. На них будто пахло переставшим запахом обычной, заурядной жизни, и они перестали вдруг шуметь, раздавалось лишь два-три голоса.

— К нам его, в Спарту, — проворчал Эвтелид, — там бы ему потрепали шкуру.

— Социон! Это что еще за чудак из Тарента?

Но Социон пожал плечами, и все оставили в покое Иккоса, лежащего на траве с прикрытыми глазами и будто не слышащего, что вокруг него происходит.

Послеполуденный тренинг разбросал всех в разные стороны. Однако новичок не шел из головы. То один, то другой наведывались на «священную полосу» и приносили новости, с которыми не вязались ни «кожевник», ни «колбасник».

Иккос проявил себя хорошо, розга Гисмона не имела повода удовлетворить их злые надежды. Единственным утешением было то, что приструнили мальчишку, который бросился замерять прыжок своего хозяина. Гисмон крикнул:

— Это не твое дело!

Мелочь, но все же чуть отлегло от сердца, и гимнасий почувствовал себя на прежнем месте, в границах заведенного порядка и традиций.

Но когда метали диски, Иккос вдруг обратился к Социону:

— Слишком сильное солнце для упражнений.

— А ты возьми зонтик.

Ответ Социона был так хорош, что мурашки бегали по спине, когда его повторяли. Скамандр же из Метилены, так тот прямо распевал его. Внезапно он замолчал, ударил себя по лбу — его осенило: ямбы, ямбы старика Анакреона! В них речь шла о каком-то Артемоне, щеголе и неженке, стихи будто ниспосланы были улыбкой богов:

Сыночек Кики зонтик носит свой
С роскошной ручкой из слоновой кости...

Декламировали хором. А потом каждый на все лады: «Сын Кики — Иккос», «Сыночек Кики — Иккос». «Зонтик! Зонт! Зонтик!» — это слово повторял всяк по-своему и до бесконечности. «Зонтик». Мальчиков это слово возвращало в страну детства, малыш Главк упился им до такой степени, что среди криков, розг, тысячи досадных оплошностей не сумел уже возвратиться в свои пятнадцать лет до самых сумерек. Говорили, что даже Герен был близок к смеху.

На следующий день присутствие Иккоса на поле многих удивило. Похоже, что они во сне распрощались с ним навсегда. В крайнем случае, надеялись увидеть его в последний раз со стены Мягкого Поля — как он бредет со своими вещичками через площадь в обществе лишь собственной тени среди огромного, пустого рынка. И тем более никто не ожидал встретить его спокойное лицо, его пристальный взгляд из-под черных сросшихся бровей. И когда снова увидали его неторопливые движения, какими он выливал масло, растирал его по телу, подставлял спину своему мальчику, который заботливо прислуживал ему, — эти двое, хлопотавшие в полном молчании, начинали казаться каким-то видением. Хотелось криком спугнуть надоедливый призрак.

Никто и слова не вымолвил. Были минуты такой тишины, что слышали кузнечика, который где-то, опьянев от росы, заливался до беспамятства. От шлепка ладонью по спине все вздрагивали, как при ударе грома. Многие из мальчиков, томясь от нетерпения, прямо задыхались в этом глухом молчании. Все жда-

ли, что оно вот-вот лопнет, как слишком туго натянутый лук. Но Иккос указал своему мальчишке на разбросанные по земле сосуды и вышел на стадион.

Теперь можно было свободно разговаривать, но оказалось — не о чем. Вспыхнули два-три препирательства из-за арибалла, из-за ремня — и оборвались на полуслове, точно люди тут же забывали, из-за чего спор. Кто-то из мальчиков вспомнил было «зонтик». На него поглядели с презрением. «Ты глуп, как чайка!» — крикнул ему Грилл. Весь этот вчерашний смех томил их, как похмелье.

Разве что Социон единственный двигался в более легком воздухе. Но даже и он был сегодня другим. С рассвета он никого не одарил своим весельем, скрывая его в себе: оно светилося сквозь красивую, гладкую, золотистую кожу. Чувствовалось, что в нем царит прежняя гармония, что ни одна струна не нарушена в этой арфе человеческой. Отчего же он ни словом, ни жестом не поднимет их до своего равновесия духа?

Он ускользал от них всей свободой своего великолепного тела, он был резвее, чем когда бы то ни было. Они были так поглощены тем, что охотнее всего назвали бы его изменой, что никто не удосужился подумать, какие же проблемы старается он отогнать множеством быстрых и ловких движений и что же может скрываться за всем этим его сосредоточенным вниманием.

Он закончил приготовления вторым после Иккоса. Закупорил свой арибалл, обтер пальцами несколько капель масла, которые остались снаружи, и положил сосуд под стену, на свое обычное место. Не оглянувшись, он выбежал на «священную полосу».

Содам пару минут спустя нашел его там стоящим со сложенными на груди руками в нескольких шагах от калитки.

На середине стадиона Иккос бежал коротким шагом, высоко вскидывая колени. Потом он изменил бег, двигаясь медленно, длинными прыжками, наконец, остановился и стал подпрыгивать на носках. Два друга приглядывались ко всем его движениям: к наклонам, поворотам, подскокам. В них не было ничего нового, их веками проделывали в палестрах и гимназиях, но сразу бросалась в глаза определенная упоря-

доченность, и хотелось понять смысл такой — а не иной — очередности движений.

Содам сказал:

— Не слишком ли много мы им занимаемся?

— Конечно.

Их разговор слышали другие, которые тем временем подоспели. От этих слов повеяло целительной трезвостью.

В самом деле, глупо уделять столько внимания человеку, о котором пока ничего не известно, кроме того, что он ест рыбу и не любит холодной воды! Слыханное ли дело, чтобы лучшие атлеты, которые не замечают целые толпы новых и неизвестных людей, пустились вдруг в домыслы, перешептывания и подозрения по поводу особы, могущей завтра навсегда исчезнуть с их горизонта! Просто смешно, и многие в самом деле прыснули со смеху и разбежались по своим делам.

Спокойная, сильная волна рассудительности раскатилась по всему гимнасию, не коснувшись лишь тех, к кому вообще ничто не имело доступа: двух аркадцев, невозмутимых в своем безразличии.

За полуденным завтраком лишь кое-кто из молодых взглянул в сторону Иккоса, чтобы убедиться, что его слуга снова принес кое-что из города. Никого это не огорчило; оказалось, что Фелесикрат и некоторые другие, что ночуют в городе, ранний завтрак устраивают по своему вкусу. Даже когда пили воду, тарентца отодвинули в конец, чтобы он мог спокойно согреть себе свой кубок. Они были сегодня великодушны — точно уступали дорогу слабому и беспомощному созданию.

Иккос не принадлежал к тем, кто перестает существовать, когда от него отвернешься. В обществе своего мальчика он вел жизнь особую, но вовсе не одинокую. Казалось, у него и на необитаемом острове нашлось бы множество дел — столько хлопот требовала его особа.

Наряду с обязательными для всех упражнениями у него был еще собственный тренинг — сложная система движений и отдыха. Мальчик следил за каждым его жестом и поминутно за чем-нибудь бегал: при-

носил и относил сосуды с маслом, скребницы, губки, полотенца и даже гребни для волос. Никто не удивился уже, когда услышал, что Иккос жалуется на малую порцию масла:

— Три кьятоса на декаду в такое время года! Да этого и семилетнему малышу не хватит.

Он натирался чуть ли не после каждой части пентатлона. Поскольку между двумя видами выпадало немного свободного времени, он тут же ложился, и мальчишка принимался за массаж, какой даже кулачным бойцам не требуется. И не было случая, чтобы он при этом не поморщился — досадовал на солнце, которое сожгло траву и сухие стебли кололи тело.

Озабоченней всего он становился вечером у колодца. Сколько тут было всякой возни со скребницами — сперва острой, потом совершенно тупой, сколько ведер он расходовал, как велел обтирать себя то губкой, то холстиной и — что больше всего раздражало — закутывался под конец в просторную шерстяную хлену и исчезал в темноте как привидение. Он обзавелся собственным ведром, чтобы не зависеть от общей кутерьмы.

Это купание отнимало у него много времени. Он пускался на хитрости, норовя до сумерек управиться с работой, чтобы раньше других оказаться у колодца. Ему, конечно, мешали в этом как могли: приятно было подумать, что Иккос снова потеряет частицу ночного сна, который и так казался ему слишком кратковременным.

Ему было мало ночи! Эй, Иккос, может быть, в прежней жизни ты был петухом, и тебе до сих пор мерещится, что ты приказываешь солнцу?!

Некоторые считали, что его можно послушать хотя бы для того, чтобы позже посмеяться за глаза.

Возьмем такую простую, обычную вещь, как песок. Иккос набирает пригоршню, просеивает сквозь пальцы, сдувает соринки, пока на ладони не остается кучка мельчайших крупиц. Крупицы эти либо шероховатые, либо гладкие, жесткие или мягкие, желтые или темные. Оба вида хороши, оба придают эластичность телу. Он, однако, предпочитает желтые: кожа от них становится блестящей. Но бывает и другой песок, с примесью глины; этот хорош для очищения. А такой, что выглядит как истолченный в пыль кир-

пич, увеличивает потоотделение у чрезмерно сухих тел. В холодное время года лучший песок — с примесью земляных смол: он сообщает коже тепло. Иккос знает много больше, он знает, где какой искать, он перечисляет страны, города, острова, будто торговал песком по всему Средиземному морю.

Опытные тренеры слышат об этом впервые в жизни. Старый Мелесий чувствует себя ребенком и так внимательно смотрит на Иккоса, словно надеется, что через минуту его молодое энергичное лицо пойдет морщинами и покроется седой бородой. Иные видят в нем просто выдумщика.

Иккос не придавал значения мнению других людей. Его не смущало безразличие, не обижал смех, он мог беседовать с любым встречным, не заботясь о том, как будут восприняты его слова. Чаще всего он не знал сотоварищей по именам: ему это было ни к чему — он в них не нуждался. Для него существовали лишь тела, и он с первого взгляда запоминал все подробности индивидуального сложения. Он носил с собой в голове поразительную коллекцию икр, бедер, грудей, шей, плеч, мускулов, и так, как иной мог бы сказать: «Я знал в Метапonte человека, который....» — он говорил: «Я встречал в Метапonte колено с такими связками, что...»

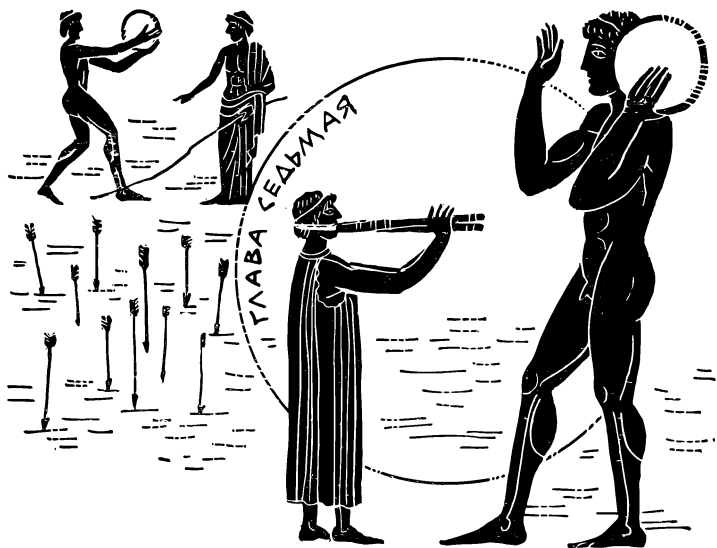
Многим было лестно принадлежать к этому собранию человеческих форм. В особенности об этом мечтали безымянные атлеты, безликое скопище посредственных способностей, те, кого прозвали «привратниками», поскольку их краткое пребывание протекало где-то в районе ворот — с той минуты, когда они впервые вошли, до той, когда выходили, чтобы не вернуться больше. Угнетаемые элланодиками, обманутые в своих надеждах, обреченные исключительно на общество людей их собственного уровня, что унижало их еще больше, они приняли союз с Иккосом как незапную милость богов.

В их глазах он был велик, как трехкратный победитель. Бедолага-бегун, преследуемый судьбой, вечно отгоняемый розгой от меты, или унылый борец с ободранными от постоянных падений коленями прямо дрожали от удовольствия, когда Иккос разбирал их недостатки. Это придавало бодрости, хоть не могло быть и речи о том, чтобы их исправить. Среди них он

нашел настоящих приверженцев. Они ходили за ним, повторяли все его движения, выслушивали рекомендации, перенимали его образ жизни, словно это был магический обряд, способный обеспечить им успех.

Он погиб окончательно. Круг Социона уже не отличал его от толпы, к которой он добровольно прибил. Он оказался на отшибе, никто не знал теперь, когда он ест, когда пьет воду, поскольку он получал теперь свою порцию вместе с последними. Даже эллады вызывали его с самыми слабыми партиями.





БРОСОК ΦΞΛΛΟΚΑ

После летнего солнцестояния дни начинают уменьшаться. Неприметно опадает лепесток за лепестком с розового рассвета, и какой-то из закатных лучей чуть раньше зажигается желтым блеском. Человеческий глаз не умеет заметить эту крохотную разницу, никакие часы, никакие приборы не заботятся пока о ничтожных крупницах времени. Юный мир V века не думает о минутах и секундах, целые дни ускользают из его счета. Лунный календарь ссорится с солнечным порядком, каждые восемь лет возникает неразбериха, и тогда в жертву времени бросают три добавочных месяца. Греческий год обтесан размашистым резцом, и никого не заботят стружки, которые унесит ветер вечности.

Но гимнасий чуток, как хронометр. Впечатлительнейший из органов чувств — инстинкт — подсказал пару дней назад, что небесный огонь миновал свою самую горячую точку, и вот — каждый видит на стадионе краешек тени, которого вчера еще не было,

Время убывает, магнитное поле беспокойства заставляет трепетать души, устремленные к полюсу олимпийского полнолуния, которое приближается. Атлеты, выходя на поле, поднимают голову, глядят сквозь прищуренные веки на свежий рассвет, встающий из-за аркадских гор, и целуют свою руку в знак почтения к богу солнца.

Жара начинается прямо с утра, целый день гимнасий кипит и бурлит, начиная впрямь переливаться через край. Атлеты все прибывают. Элланодики трудятся до седьмого пота. Гисмон в коротком хитоне без рукавов твердо правит с помощью своей розги. Как Одиссей у входа в подземелье мечом отгонял толпы теней, теснившихся на запах свежей крови, так и он сражается с возрастающей толчеей и шаг за шагом прорубает в ней дорогу для лучших.

Он охотно оставил бы в покое этих людей, пылких и прекрасных, которым уже не нужна его помощь. Они вольны делать все, что хотят. Они купаются в реке, сидят, стоят, разговаривают, возвращаются к упражнениям без всяких понуканий — редко какой из элланодиков бросит взгляд в ту сторону, где они бегают, прыгают или борются. Они чувствуют вокруг себя покой, будто из водоворота выбрались в ровное, ласковое течение.

Наконец для них открыли плетрий. На всех площадках элланодики стали оглашать имена: «Эргофил! Дандис! Герен! Эфармост! Социон! Содам! Каллий!» Первые имена стадиона, пентатлона, кулачного боя, борьбы, панкратия взлетали над притихшим гимнасием, и когда они уже отзвучали, многие продолжали вслушиваться в тишину, как будто теплилась надежда, что удастся из нее выудить еще и собственное имя. Из гимнасия, как из созревшего граната, выжали весь сок, оставив кожуру с остатками мякоти, в которой найдется разве что еще несколько капель.

Плетрий называли «предбанником Олимпии». Он открывался лишь перед теми, кто наверняка предстанет перед алтарем Зевса. Вызванные покидали площадки, многие забирали с собой свои снаряды; казалось, что с их уходом все кончается и гимнасий впадает в будничное безвременье, когда одна олимпиада уже прошла, а до следующей еще далеко.

Плетрий отделяли от других площадок сначала

двор с колодцем, а затем небольшой садик, цветущий вокруг глубокого резервуара. Какой-то человек черпал воду и разливал по грядкам. Увидев входящих, он крикнул:

— Идти тропинкой и не топтать цветов!

Они шли гуськом, осторожно, по узкой дорожке, выложенной кирпичом, сквозь этот особый мирок за стеной их вечного шума, о существовании которого никто не догадывался.

Плетрий являл собой квадрат со стороной в сотню стоп, замкнутый стенами со множеством ниш для скамей и статуй. Фигуры Геракла, Гермеса, Аполлона — покровителей спортивной молодежи улыбались в камне, обработанном старыми скульпторами. На стенах было множество надписей, многие из них стерлись и выцвели. Те, кто некогда тренировался здесь, выцарапывали свои имена вместе с названиями родины, иногда с каким-нибудь метким выражением вдобавок и непременно с указанием своей атлетической специальности. Встречались имена давние, легендарные, и трудно было поверить, что можно прикоснуться к месту, на котором лежала ладонь гиганта Лигдамиса, Полиистра, догонявшего зайца на бегу, прославленного Милона Кротонского.

Это была старейшая часть гимнасия, древнее ристалище, помнившее времена первых олимпиад. Трогательная малость этого поля славы говорила о тесноте этого маленького мирка, лежащего под узким небосводом, который не простирался за границы Элиды. Эти места являли собой почтенные останки, священную реликвию, начиная от трещин в стене, которые никогда не заделывались, до серого песка, который выглядел так, будто его присыпал прах времен.

Все двигались неуверенно, ходили вдоль стен, останавливались перед статуями, читали надписи. Социон склонил голову набок, чтобы собрать убежавшие вниз буквы, которыми себя увековечил великий Хион из Спарты. Они шли справа налево, косо наползая друг на дружку, все ниже и ниже, так что он вынужден был присесть, чтобы разобрать конец надписи. Но слова обрывались в растресканной стене, из которой в этом месте выросал пучок травы.

Пока они не знали, что им делать. Для нескольких десятков атлетов разной специализации сто квадрат-

ных стоп поля мало на что годились. Среди кулачных бойцов, борцов и панкратиатов наметились какие-то смутные планы, но тут же угасли. Эфармост наклонился за песком, но поднял комок.

— Твердый, как камень, — сказал он.

Тела, привыкшие к постоянному движению, начали слабеть в бездействии.

— Можно посидеть, — сказал Социон не совсем уверенно, будто сомневаясь, не противоречит ли это обычаям здешнего места.

Он выбрал скамью, стоявшую в глубокой нише. Здесь была роскошная, густая тень: платан, росший за стеной, наклонял в эту сторону несколько пышных ветвей. Все понемногу собрались сюда и сидя, лежа и стоя образовали теперь бесформенную аллегория неподвижности, лени и скуки.

Социон смотрит из своего укрытия на песчаную площадку в дрожащем зное и ни с того ни с сего спрашивает:

— А что, Гелиос держит свой щит в руке или он у него висит за спиной?

— В левой руке, — отвечает Герен.

— Это не щит, — говорит Скамандр, — а колесо.

— Колесо от колесницы? Так он на одном колесе ездит?

— Нет! Просто другого с этой стороны не видать.

— Он выезжает из Эфиопии, где у него дом из чистого золота.

— Не дом, а пещера. Пещера из хрусталя, — поправляет Герен.

— Вечером он купается в Океане у Гесперид.

— А как возвращается?

— Ночью он переплывает Океан с запада на восток.

Агесидам смежает веки, как ребенок, который уже дослушал сказку и хочет спать. Но он еще пересиливает себя.

— Кораблем?

— Нет, в золотой чаше.

Немного погодя вступает Эргофил:

— Когда я плыл сюда из Гимеры, был на корабле человек, который иначе об этом говорил.

— Скажи, сын Филанора, — вступает в разговор Фелесикрат, — кто это был?

— Не знаю. Мудрый человек, мне кажется. Он ехал откуда-то с побережья, из Кротоны или Метопонта. Он говорил... — Эргофил колеблется: говорить или нет? Затем, понизив голос, продолжает: — По его мнению, Гелиос не ездит по небу. Он говорит, что Гелиос, как и другие боги, не делает ничего, живет себе счастливо и особо не перетруждается. Это мы движемся постоянно.

— Как это — «мы»? — шепчут некоторые.

— Мы — это значит Земля. Земля, и Солнце, и Луна, и все звезды кружатся, мчатся без остановки.

— Земля мчится? — поражается Патаик.

Грилл тоже не понимает, но все-таки считает, что он понятливее, чем этот, из Беотии.

— Не бойся, она от тебя не удержит.

— Тот человек умел это объяснить, — говорит Эргофил. — Ты, дескать, рождаешься и умираешь в этом вечном движении и потому его не замечаешь. И еще что-то, но я уже не помню. Он назвал это хороводом. Будто все небесные тела держатся за руки и кружатся вокруг алтаря. Алтарь — это некий огонь, огромный жар, которого мы не видим. От него исходят свет, и тепло, и жизнь на Земле, на Солнце и на всех звездах.

Молчание. В приотворенные души входит дуновение этой непонятной мысли. Огонь, алтарь; вселенная приобретает знакомый облик жилища, в котором справляют свадьбу. Земля и Солнце — невеста с женихом — вместе со свадебной свитой обходят алтарь кругом, и все поджигают факелы от центрального очага. Новая мысль, поначалу тревожная, умиряет их своим напевным ладом; покорные прекрасным законам материи, которые удерживают их тела в совершенной гармонии, они чувствуют себя уверенными и беспечными, как сама вселенная, пребывающая в движении независимо от людских толкований.

Шум гимназия, густой, сплошной, неумолчный, доносился сюда, в этот оазис тишины. Но в его раскатах, монолитных, как кусок металла, их опытный слух различал все оттенки голосов. Каждая площадка отличалась своим звучанием, порой с разницей в обертонах; в этом буйном пейзаже галдежа западал внезапно овраг молчания — и тогда говорили: «Кончили прыгать» или же: «Эпиф прервал борьбу».

Ими овладела роскошная лень. Сознание, что другие трудятся, и неустанный ритм их труда придавали отдыху особую сладость.

Внезапно гимнасий, который только что был как развернутый пергамент, все буквы которого говорили разом, вдруг стал сворачиваться. «Священная полоса», Тетрагон, Мягкое Поле поочередно стихали, остался лишь какой-то непонятный шумок. Что случилось? Социон первым сорвался с места.

Случай, который нарушил течение дня, произошел на «священной полосе». Ономаст, элланодик, который проводил тренировку дискоболов, велел измерить бросок Иккоса. Раб, производивший эту операцию, пользовался дротиком в пять стоп длиной. Он насчитал девятнадцать дротиков. Последний оказался впрыток к стреле — пальца не просунуть. Ономаст сказал: — Это бросок Феллоса.

Если бы он ограничился только цифрой в девяносто пять стоп, происшествие заслуживало бы внимания, не больше, но он связал его с именем героя, и оно превратилось в выдающееся событие.

Феллос из Кротоны трижды выходил победителем в Дельфах, один раз в беге и дважды в пентатлоне. Он достиг всего этого к двадцати годам, в самом начале расцвета. Ему предрекали на семьдесят пятой олимпиаде оливковый венок. И он уже собирался в путь, когда внезапно вспыхнула война. Феллос продает свой участок, дом, подаренный ему городом, покупает корабль, скликает добровольцев и, единственный со всего италийского побережья, спешит на помощь Старой Земле. Он погиб под Саламином.

Социон и его товарищи находят гимнасий настолько изменившимся, будто они отсутствовали целый год. Их как-никак несколько десятков, и каждый сам по себе кое-что значит, но сейчас они стоят на поле и чувствуют, что весомость их бесконечно убавилась и что стадион, как качающуюся доску, целиком перевесил Иккос. Патаик всплеснул руками:

— В первый же день, как увидел я его с этой рыбой, я понял, что доставит он нам хлопот.

И снова им пришлось лицезреть все эти «тарентские чудачества», непонятную систему упражнений, капризы с едой, подогревание воды. Вертевшийся вокруг него мальчишка, его хлопотливость и растороп-

ность могли кого хочешь вывести из равновесия. Выбившись из толпы, в которой они его уже было потеряли, Иккос теперь снова им мозолил глаза. Даже если его и не видно было, человек ощущал какой-то щекотливый зуд в спине и, обернувшись, встречал взгляд Иккоса, внимательный и бесстрастный.

— Что он высматривает? — выходил из себя Эвтелид.

А Социон отвечал:

— Легкие, сердце, мускулы, связки, кости, хрящи. Мне всегда кажется, что я прозрачный, когда он на меня смотрит.

— Но и к нему есть смысл присмотреться, — сказал Эфармост. — Я был вчера в Тетрагоне, видел, как он борется. Он мне очень понравился.

В самом деле, Иккос вел себя как мастер и в то же время как невежда. Он знал все приемы, помнил их древнейшие названия, связывал их с именами богов, героев, знаменитых атлетов, ссылаясь на правила различных игр, но нередко Эвримен имел все основания советовать ему лучше уж написать обо всем этом книгу, чем играть в борца. Он почти никогда не выходил из защиты, причем бывали ошеломительные моменты — взгляд не успевал ухватить того, как он молниеносно освобождался от самого жесткого захвата. Но в следующую минуту он становился беспомощным, опустошенным и не видел простейшей возможности, которая сама давалась в руки. «Слепой или прикидывается?» — этого никто не мог понять.

Но несноснее всего было то, что гимнасий выглядел теперь зеркальной комнатой: повадки и движения Иккоса повторялись на всех площадках с такой точностью, будто он сам размножился до бесконечности и только менял лица — мальчишеские и бородатые, белые и смуглые. Удивляло безразличие элладодиков. Неужто они не видят? В каком гимнасии допустили бы такое? Все идет наыворот. Люди явно отбились от рук. Время от времени кто-нибудь пропадает, нигде его не отыщешь, один Эвтелид мог бы указать, где скрывается бездельник. Ослабление дисциплины оскорбляет спартанца, он возмущается новомодной свободой, которая начинает царить на площадках.

— Тебя Гисмон любит, — говорит он Социону. — Ты скажи ему. Они все у него за спиной убегают на

площадь. Даже половины упражнений не отрабатывают.

Но Социон пожимает плечами:

— Следи за собой.

Их подгоняло время — всемогущая сила, — каждый день по-иному ощущали они его воздействие. Они просыпались до рассвета, и день гнал их в суматохе; под вечер приходили к колодцу взмокшие, обессиленные, провожая взглядом гаснущий свет, будто это был последний закат мира. А иногда месяцы, проведенные здесь, казались им на удивление краткими, а время, которое оставалось впереди, несмотря на то что его было все меньше, растягивалось в обширное и уютное пространство, сулило небывалые перемены.

Случались минуты тревоги и раздражения, они сделались в «кругу Социона» чем-то вроде бунта гарнизона в осажденном городе. Призрак Иккоса выглядывал из-за каждого угла.

Скамандр отсиживался в плетрии сколько мог.

— В конце концов, его открыли затем, чтобы было где отдохнуть.

Дандис его поддерживал:

— Я выступаю в диавлосе, и непонятно, зачем я должен проделывать все эти упражнения, как мальчишка в палестре. Тем более что меня никто к этому не принуждает.

Эфармост высказался прямо:

— Социон — ребенок. Ему охота гонять целый день в этом пекле.

А Меналк:

— Две-три схватки в день — этого мне более чем достаточно. Эпиф большего и не требует. Социону хочется резвиться — пусть резвится себе. Разве не хватает мальчиков?

Социон не мог уже рассчитывать на мальчиков. Тренеры, просвещенные методикой Иккоса, тряслись над своими воспитанниками, как хлопотливые наседки. Никогда ни в одном гимнасии не слышали так часто: «Не переутомляйся!», «Оставь диск в покое, это не нужно», «Не прыгай после еды, подожди, пока тебя вызовут». И с рассвета до сумерек они опутывали их сетью массажей, так что многие с трудом волочили ноги.

Это было смешно и печально. Беспомощная мысль

морщила лбы его друзей, прежде такие гладкие и доверчивые, их мучила потребность понять, они хотели бы оправдаться перед собой и не находили слов; за несообразными жестами проглядывали смятенные души.

Социон удивлялся тому, насколько это его огорчает. Уже два месяца он жил с ними, соревновался, делил хлеб и надежды. Он не считал себя ни хуже, ни лучше каждого из них, он попросту бежал своей тропкой, параллельной их тропинкам. Лишь теперь обнаружилось, что его дорога шла по кругу, а все другие сходились к ней лучами. Вождь? В здешних стенах это слово не имело смысла, никто бы не произнес его, не наградил бы им другого.

Среди всеобщего подъема и желания победить рождалось чувство симпатии — способности неожиданной и не бравшейся в расчет. Чужие усилия воспринимались как свои; друг был предметом гордости, и благодаря этому человек становился богаче; нежность, способная скорее расслабить, превращалась в источник силы, упорства и отваги. Вот каков был тот огненный круг, который их — несколько десятков схожих с другими тел — обособил среди сутолоки гимнаasia.

И он, Социон, эфеб, никак не могущий претендовать на то, чтобы верховодить взрослыми, оказался в самом центре круга, потому что его огонь был жарче, чем у других.

В самом деле: он питал их собой, вдохновлял своим порывом, воспламенял радостью, которая в нем самом вспыхивала от каждого их триумфа. Если бы они вычли из своего времени все те минуты, когда он вдохновлял их, им остались бы лишь бесцветные дни принуждения и обязанностей. Не ограниченный никакой целью, бесконечно свободный, он сверкал как заблудившийся сколок золотого века, лучащийся его счастливой и беспечной жизнью. Он был воплощением игр, этого радостного богослужения, когда в дар богам приносятся учащенный стук сердца, напряжение мускулов, тело, истекающее потом, точно так же, как дарами алтарю служит музыка флейт, потрескивание огня и кровь убитого животного.

Они об этом никогда не говорили между собой — и так все было понятно: это сквозило во всех его дви-

жениях, в которых не было ни рассудочности, ни бережливости; он расточал себя, нутром чуя щедрость своих молодых сил; и совершенство, которого он достигал, было не следствием расчета, а просто милостью богов, наградой за чистую и искреннюю жертву. Любовь, которой они его окружили и которая их самих поднимала, была не чем иным, как признанием их эллинских душ в верности идеалу, созданному отцами и дедами.

И вдруг их разобщила неуверенность. Пришел человек, которого высмеяли и оттолкнули, но который застрял среди них, как камень в ручье. Все теперь разбивалось, мутилось, бурлило мелкими водоворотами. Впервые в жизни Социон, не ведавший другого состояния души, кроме спокойной ясности, наполнявшей его до краев, почувствовал горечь внутреннего разлада. Иккос раздражал его, беспокоил, тревожил. Появление друга детства подействовало на него так, будто он в границах своего мира обнаружил след чужой ноги.

Этот его мир утратил надежность, и Социон чувствовал под собой колеблющуюся, неверную почву. Его покинула смелость, и выпадали такие минуты, когда хотелось одного: исчезнуть, убраться с этой горячей точки, затеряться в темной, глухой жизни неприметных людей.

Содам как-то сказал Гриллу (люди моря, они имели общий жаргон):

— Социон дрейфует!

Так продолжалось несколько дней. И вот в один прекрасный день Социон повторяет «бросок Феллоса».

Вот оно, настоящее красноречие на этом горячем песке! Его диск, как вдохновенное слово, увлек тех, кто готов уже был отступить. Так стратег новым, воодушевляющим призывом поднимает свои войска, обессилевшие в пустыне. И, будто Социон сломал какую-то преграду, — все двинулись вперед. Содам перекрывает его на ладонь. Эвтелид не достает до них на неполные две стопы. И цепь, завязавшаяся в пентатлоне, пошла нанизывать все новые звенья — «круг Социона» соединился снова.

Иккос сыграл во всем этом свою незабываемую роль. «Бросок Феллоса» остался бесспорным его до-

стоянием, окруженный почетом, точно предок блестящего потомства. Что бы ни говорили о нем, но именно он создал день, оказавшийся началом новой эры в жизни гимнасия. Сам он не вырывался больше вперед, однако (что тоже было ценно) никогда не уступал добытого. Всегда стабильный, он укреплялся на завоеванном месте, как в твердыне. С ним заключили вооруженное перемирие.

Каллий, панкратиат, говорил перед всем пентатлоном:

— Это противник, который стоит труда.

Противник несомненно... Но теперь, когда было восстановлено равновесие, когда никто уже не думал «искать спасения в Таренте», как говорилось о том странном времени колебаний и беспокойства, Иккос вновь очутился едва ли не в своем старом положении докучливого чудака. Они не могли пересилить отвращение к его образу жизни. Он отталкивал их дерзким желанием все переиначить. Он по-другому построил бы гимнасий, иначе рассадил бы деревья, ввел бы другое время для сна, упражнений и приема пищи — и, будь его воля, день, щедрый божий день, сочился бы по каплям, как вода в клепсидре. Среди всех этих соображений и расчетов просто-напросто некогда будет жить.

— Жить? — заявляет Иккос. — Это может за тебя сделать любой раб.

— Ну нет, дорогой мой, я не поручу это рабу, — отвечает Социон.

Иккос коротко хохотнул.

— Прекрасно, прекрасно. И я не поручу. Но я живу за счет своего тела!

Все опешили, будто на месте тарентца увидели другого, совсем незнакомого человека.





ЗА ГРАНЬЮ ЖИЗНИ

Дело происходило в плетрии, к которому Иккос принадлежал уже какое-то время.

— Это место будто для него создано, — заметил Эвтелид, впервые увидев его там.

В самом деле, тарентец обосновался здесь с присущей ему обстоятельностью. Он сразу выбрал самую удобную скамью, раскопал в нише какую-то корягу, на которую повесил сосуд с маслом, расположил поудобней свои скребницы и полотенца. Он единственный пользовался плетрием не только для отдыха и еды, но и для тренировок. Никто не мог сказать, где он раздобыл свежий песок.

Вот и теперь, когда все уже покончили с творогом и фруктами, он не приступал еще к еде, ожидая минуты, когда, остыв от упражнений, он сможет, по его мнению, сделать это без ущерба для здоровья. Он сидел в своей сумрачной нише, располагаясь как можно удобнее, с полотенцем на плечах, чтобы не прислоняться голым телом к стене: то ли она для него шер-

шавая, то ли холодная — неясно. После тех небывалых слов он витал над ними своим острым взглядом. Ястреб, зависший в пустом небе.

— Что вас так напугало?

Он взял свою порцию и начал есть. Теперь он поглядывал на них весело, — должно быть, его забавляла их озабоченность.

— Ну-ка, Мелесий, объясни им мою мысль. Мы с тобой люди одной профессии. Я тренер, как и ты. Ведь ты берешь плату за то, что делаешь борца из этого вот Тимасарха?

— Я зарабатываю на жизнь умением, а не телом.

— И правильно делаешь. Хотя на тебе и одежда, можно догадаться, что твое тело тебя сейчас уже не прокормит. Но я еще кое-чего ожидаю от своих ног и рук.

— Что это, собственно, значит: жить своим телом? — добродушно спросил Патаик.

— О благословенная Беотия! — воскликнул Иккос. — А говорят, что это страна тупиц! Ты первый в этом обществе сказал разумное слово. Вот что это значит: я упражняюсь, я хочу быть сильным и ловким и надеюсь, что это обеспечит мне кусок хлеба.

— Кусок хлеба? И за этим ты пришел в Олимпию? — спросил Содам.

— Не иначе. Олимпийская олива весьма питательна, не так ли?

Все изумленно переглянулись. Их воображением овладела бессмысленная конкретность. Каждый вдруг подробно представил себе эту ветку с десятком-другим серых листков. Мертвый шелест этой реликвии иссушал мозг. Вместе с тем давила какая-то тяжесть. Воздух сделался затхлым. Содам провел рукой по лбу.

— Я давно это подозревал, — прошептал он.

Но Иккос сейчас витал в безоблачном эфире:

— Грилл, у вас на Панафинях награждают победителей амфорами с маслом. Их можно продать и выручить немного денег. Но если ты добудешь венки в Олимпии — скажи: сколько по закону тебе выплатят из государственной казны?

— Пятьсот драхм, — ответил афинянин.

— Вот видишь, ты разбогатеешь.

— Я никогда об этом не думал.

— Может быть. А я вот думаю о таких мелочах.

— Не забудь заглянуть в Аргос. У нас можно выиграть красивые вещи из бронзы! — воскликнул Дандис.

— А у нас серебряный кубок!

— А в Пеллене, говорят, — теплый плащ!

Отовсюду посыпались подобные выкрики, а Иккос раскинул руки, будто принимал в охапку все, что ему бросали.

— Ну, еще, еще. А ты мне ничего не дашь, Ксенофонт?

— Почему я? — испугался мальчик.

— Ты сын знаменитого Фессала. Чем полжизни занимался твой отец? Разве не ездил он по всем играм, не собрал разве сотню-другую призов?

Мальчик ужасно покраснел и беспомощно посмотрел по сторонам. Эргофил, стоявший рядом, погладил его по длинным волосам:

— Успокойся. Не тебе стыдиться.

Иккос отломил кусочек творога, разжевал, проглотил.

— Вы все младенцы, начиная от Главка, которому борода еще не снислась, и кончая Гереном, у которого она седеет. Глядите на меня как на упыря, потому что я вслух говорю то, о чем каждый думает про себя.

— Не смей касаться наших мыслей! — крикнул Содам.

— Ладно. Вы с первого же дня так далеко отстранились от меня, что не только ваших мыслей, но и ваших тел я не мог коснуться иначе, как в борьбе.

— Сам виноват, — сказал Социон.

— Вы насмехались надо мной, будто я ярмарочный шут.

— А кто же ты? — спросил Герен.

— Ах ты, лохматый! Тебе я буду отчет давать? Я видел, как от тебя пластами отваливалось невежество. Эвримен катал тебя по песку, как камень. Ты у слонов учился борьбе.

— Хватит, хватит, — пресек его Каллий. — Нам твоя болтовня может и осточертеть.

— С каких это пор в Афинах разговаривают кулаком?

Никогда еще Иккос не имел над ними такого перевеса. С ним никак нельзя было совладать. Он был

дерзок, насмешлив, несносен. Но вдруг он всех удивил:

— Я беден, — сказал он.

Многие решили, что ослышались. О чем он говорит, этот человек в таком великолепном одеянии мускулов? Другие же, чьи понятия сложились в уважении к достатку, поняли так: бедный, — стало быть, обозленный, бесчестный, способный на любое преступление. Именно к ним обратился Иккос:

— Только не торопитесь с выводами! Вспомните, как Симонид из Кеоса говорил об одном олимпионике, что он до этого носил рыбу из Аргоса в Тегею. И мне пришлось бы заняться чем-нибудь подобным, если бы я вовремя не научился гимнастике. И смею уверить, что научился лучше любого другого, но только вы приняли это за шутовство.

Он стряхнул крошки творога, приставшие к ноге, снова накрылся своим полотенцем и привалился к стене. Все молчали, погрузившись в ленивую послеобеденную задумчивость.

— Слишком много ты мнишь о себе, — подал голос Каллий. — Зачем нам думать о том, что ты делаешь?

— Никто от вас этого и не требует. Но такие, как вы, атлеты хоть немного должны разбираться в гимнастике.

— Клянусь Зевсом! Не ты ли ее изобрел?

— Сын Дидима, ты большой вельможа. Сколько живешь, ты никогда не задумывался, откуда берутся все те вещи, которые тебе служат. Еда, постель, на которой ты спишь, одежда, которую носишь, эти красивые скребницы, одну из которых ты потерял и даже не удосужился ее поискать, дом — хотя, должно быть, у тебя не один дом — все это ты принимаешь как должное, не размышляя. Для всякого дела у тебя есть рабы, даже здесь тебе прислуживают два массажиста. Чтобы ты был таким, каков есть, за тебя постарались другие. Всю твою ловкость, все искусство твоих кулаков ты приобрел как готовый хитон, о котором не знаешь, кто для него выращивал лен, кто соткал полотно, кто сшил.

— Не скажешь ли ты, что я и гимнастике учился не прикладая рук?

— А как же! Он тебе и это скажет, — вмешался

Фелесикрат.— Он, должно быть, всех нас считает бездельниками.

— Эй! — воскликнул Иккос.— Ты, сын Карнеада, можешь для всех служить примером трудолюбия. Кто-кто, а ты тянешь свой плуг в гору. Родился ты борцом, а лезешь в бегуны. Это уже выглядит героизмом, который Гисмону следовало бы выбить из твоей башки или откуда-нибудь еще — не знаю, где там у тебя помещается разум.

Улыбка объединяет людей. Эта пустяковая судорога лицевых мускулов, которая изменяет расположение двух-трех черт в человеческом лице, стоит иногда пространного трактата о мире. Последние слова Иккоса у некоторых лишь слегка изогнули губы и обозначили крохотные морщинки в уголках глаз, у иных же приподнялась верхняя губа, обнажая зубы, и сузились глаза в две щелочки. Но тарентец не злоупотребил положением, которое возникло в эту веселую минуту, и сказал очень просто:

— Я вынужден был слишком рано думать о себе сам, а при этом научился думать и обо всем другом. И тогда гимнастика привлекла мое внимание. Я убедился, что наши палестры и гимнасии могли бы давать нам куда больше, чем дают.

— Этого хватало кое-кому и получше нас с тобой, так что и нам хватит,— прервал его Содам.

— Было бы не удивительно, если бы это сказал аркадец. Но в твоих краях, как и у нас в Таренте, люди с детства глядят на море охотнее, чем на сушу. Море движется, а суша неподвижна. Я так понимаю: суша — это прошлое, а море — это само будущее — новое, свежее. Прошлого не изменить никому, и не надо его менять — хорошее оно или плохое. Но то, что у нас впереди, мы можем сделать таким, каким пожелаем.

— Каким богам будет угодно,— сказал Герен.

— Грилл, скажи ему афинскую поговорку: «Афину зови, а руками шевели».

Грилл подтвердил кивком.

— Вот так, мой навкратиец, продолжал Иккос.— Богам быстро надоест, ежели оглядываться во всем на них. Что говорить о богах! Я не думаю, чтобы чем-нибудь их задел. Напротив — ничем их так не порадуешь, как стремлением человека ко всякого рода со-

вершенству. Кто знает: имей я твою силу, возможно, я тем бы и удовлетворился, но мое тело было в палестре не из лучших. Ты помнишь, Социон?

— Так же, как и мое, — ответил эфеб.

— Это правда. — Иккос остановил на нем такой долгий взгляд, будто засмотрелся.

Все невольно повернулись к Социону. Он показался им крупнее и зрелее. И это не было обманом зрения. Они постоянно видели его в движении, сами поглощенные своей насыщенной жизнью. Иногда привлекала в нем внимание какая-нибудь новая подробность, точно невидимый резец прошелся по его формам. Так, развившиеся мышцы спины вдруг поглотили жесткость позвоночника, который до этого колюче проступал, как бывает у мальчишек. Но никто не окидывал взглядом всю его фигуру, и только теперь, неподвижно стоящий, он поразил их ароматом полного своего расцвета.

— Да, прекрасная штука — такое тело, — сказал Иккос. И, вздохнув, добавил тише: — Воспитанное в таком легкомыслии.

— Ты бы, конечно, на это не решился? — засмеялся Содам.

— Ты хочешь меня задеть, но ты угадал. Я не решился бы все предоставить природе.

— И очень много бы потерял!

— Не будем ссориться. Когда я говорю вам, что размышлял о гимнастике, это вовсе не значит, что я сам выдумал все то, что вас сбивает во мне с толку. Известно ли вам, что Милон написал книгу? Можешь смеяться, Филон. До Тираса так далеко, что разве твой правнук увидит эту книгу. Хотя и тебе не повредило бы. Там ты мог бы вычитать, что борцу требуется немного мяса раз в день.

— Олимпийские правила ничего об этом не говорят.

— Дорогой мой, олимпийские правила появились в то время, когда в Олимпии не было других состязаний, кроме бега. И разве в правилах вообще что-нибудь сказано о еде? Вам дают по старинке творог и сушеные фиги, но если кто-нибудь хочет питаться иначе, то может это себе позволить. До сих пор не понимаю, чем вас всполошила рыба, которую мне принесли в первый день?

Вопрос был обращен ко всем, но ответил один Грилл:

— Ты сам посмеялся бы, если бы увидел себя со стороны. Кто же из атлетов так заботится о своем желудке, едва переступив порог гимнаasia?

— А о чем же, мой афинянин, должен заботиться атлет, если не о своем организме? Что бы ты сказал о музыканте, который кидает свою кифару где попало, не заботится о ней, покуда ржа не разъест струны? Организм — это наш инструмент, с ним следует обходиться бережно, чтобы наша игра была совершенной.

Кто-то вздохнул. Некоторые беспокойно пошевелились. Песок, на котором они сидели, начал им докучать. Скамандр встал, потянулся и зевнул. Социон покинул свое место под стеной, сделал пару шагов и, наклонясь безупречной дугой, зачерпнул горсть песка. Он позволил ему медленно высыпаться из стиснутого кулака, а потом открыл ладонь и стал рассматривать оставшиеся песчинки, будто пересчитывая их. Наконец, он их стряхнул и обтер руку о бедро.

— От этого твоего атлета, Иккос, — сказал он, — пахнет постелью.

Все головы повернулись к нему, а поскольку он находился на ярком солнце, глаза жмурились от блеска, который посылая его натертая маслом спокойная, широкая грудь.

— То есть как?

— Клянусь Гераклом! Когда я слушаю тебя и думаю о твоём атлете, который должен так заботиться о себе, мне так и видится тихий полумрак комнаты и я слышу, как ложечка осторожно помешивает лекарство в стакане. Он ведь постоянно помнит о покое, этот твой атлет, солнце его донимает, ему не хватает часов сна. Ему требуется отмеренное питание, он озабочен недостатком или избытком своего веса, во всем ему мерещится опасность, даже в том, что воспринимают естественно, как воздух. Он советуется с врачами или сам себе врач — разве ты не говорил, что бегунам грозит увеличение селезенки и что существуют отвары из трав, которые следует пить, чтобы избежать этого?

— Несомненно, — согласился Иккос. — Кто может

сказать, что наша профессия не требует самоограничения?

Социон поднял руку.

— Нет такой профессии — атлет!

— Нет? Ты уверен? — Иккос коротко хохотнул. — Астил...

Общий ропот встретил это имя. Астил из Кротоны был знаменитейшим атлетом их времени. В трех последних олимпиадах он добыл семь венков: в обычном беге, в диавлосе и в беге с оружием. Бесчестно было бросать тень на подобную славу.

— Ты злой человек! — крикнул Грилл.

— Не забывай, — Иккос тоже повысил голос, — что я несколько лет прожил в Кротоне. А вы могли заметить, что я не прячу глаза в карман. Но если это вас задевает, я молчу. Сами убедитесь в Олимпии.

— А он там будет?

— Будет и, если не ошибаюсь, устроит вам сюрприз.

Снова они перестали его понимать. В сущности, разговор бродил по бездорожью, среди неясностей и загадок. Иккос, несомненно, знал свою дорогу и всегда умел выбрать такое место, откуда видел их всех как на ладони. Сам же он поминутно исчезал, скрывался за словами; вернулась прежняя неприязнь к этому человеку, который вдруг показался им чужим, как никогда. Многих потянуло встать и уйти, однако они остались и сидели напротив него, будто разделенные пропастью. Впечатление отдаленности было столь сильно, что для них было неожиданностью услышать его голос, который без усилия прервал тишину:

— Если вам неприятно слово «профессия», скажем иначе: искусство. Думаю, никто из вас не будет возражать, что бег, пентатлон или борьба — это искусство? Мы учимся ему, у всех у нас неодинаковые способности. Прошли времена, когда Главк из Кариста прямо от сохи подался в кулачные бойцы.

— Но это ему не помешало завоевать несколько венков, — заметил Меналк.

— Но ты, небось, не пошел по его пути? Давайте не будем детьми. Нас здесь два десятка хороших профессионалов, у каждого за плечами палестра, потом гимнасий, кое-кто после всего позаботился найти еще и тренера, который продолжает его обучать, и, нако-

нец, вы явились сюда, где, как говорят, лучшая из школ, и изо дня в день каждый тренируется по мере своих сил...

— Но ты переходишь грань,— прервал его Социон.

— Какую грань?

— Грань жизни!

Эти два слова упали на них как яркий луч. Рассеялся дремучий мрак, все сомнения, которые терзали умы, беспомощные перед проблемами, скрытыми в глубинах предчувствий и подсознательных рефлексов, и неприязнь к загадочному чужаку — все это получило внезапное объяснение. Истина была настолько рядом, что многие с трудом удержались, чтобы не воскликнуть удивленно: как же мы этого не понимали!

— Ты говоришь о нас так, будто мы одни такие на свете. Кроме нас ведь существуют тысячи, которых тот же рассвет пробуждает для тренировок и те же самые сумерки заставляют покидать гимнасий.

— Наше совершенство — образец для них и стимул.

— И я так считаю, но какой образец можешь ты им предложить, им всем, которые никогда не выйдут из границ жизни? Которых судьба не толкает на наш путь? Для чего ты хочешь наделить их требовательным и капризным телом, научить осторожности? Для каких благ должны они окружать себя заботой, как ценную статуэтку в деревянной шкатулке,— будто и в самом деле это какая-то хрупкая вещица, которая может испортиться или сломаться?

— А что им прикажешь делать ты?

— Ничего. Я оставляю их на своих местах — в палестрах и гимнасиях, в этих садах радости и воли, созданных нашими предками по милости богов. Я — один из них, маленькая разница лишь в том, что счастливая судьба позволила мне отправиться в Олимпию. Счастливая судьба — и ничего больше.

Иккос молчал, глядя на него таким темным взглядом, будто вся тьма ниши, где он сидел, собралась под дугами его сросшихся бровей. Социон видел его как сквозь туман.

— Ты выращиваешь атлетов напоказ. Ты надеяешь их силой и сноровкой, нужной лишь для крат-

кого мига выступления. Поэтому я говорю тебе, что ты переступаешь грань жизни. Атлет, какого ты хочешь сформировать, — это уже не сила, или, вернее, бесполезная сила, непригодная для жизни, требующая чуткой опеки, как слабость. Ты говоришь: самоограничение. Я не желаю ни в чем себя ограничивать. Какой ужас — понять когда-нибудь, что я остался в долгу перед собственным телом, что в лучшую пору жизни я не отдал ему всего, на что был способен.

Он умолк, и только внутренне дрожал от крика своей души. Он почувствовал на себе горячие взгляды друзей и вновь зажегся от них.

— Ты был мне отвратителен, как надсмотрщик рабов, когда тебя окружили все эти бедняги, которым ты навязывал свою волю. Ты их ограничивал. Дело не в том, что ты ешь и как спишь. Я даже уверен, что у тебя можно научиться многому полезному. Но ты хотел бы нас связать по рукам и ногам. И тогда нельзя было бы вздохнуть, заранее не подумав, какое сейчас время — для короткого или глубокого дыхания. За тобой следом идет жалкая боязнь, глупая, доселе неведомая людям разновидность страха — боязнь сделать лишнее или случайное движение. Ты бережешь свое тело, как полную амфору, чтобы не пролить ни капли, чтобы полнехонькой донести ее до самой Олимпии. Тебя поработывает цель.

— А ты, — Иккос прокашлялся, будто у него что-то застряло в горле, — разве ты ничего не хочешь? Даже быть лучшим?

— Быть лучшим? Да! — воскликнул Социон. — И это ценность, которая сама себя окупает.

— Ты хочешь сказать, что не ждешь иной награды? Даже если эта награда — слава?

— Слава! Это то же самое, как если бы ты сказал: небо!

— Ты так внезапно воспарил, что уж прости, если я за тобой не последую.

— Кто знает, может быть, тебе этого и не дано! — крикнул Содам.

Иккос встал и вышел из своей ниши. Полотенце, которое покрывало его плечи, он бросил на скамью. Этот кусок полотна, всегда сложенный с раздражающей аккуратностью в безукоризненный прямоугольник без единой складочки, валялся теперь скомкан-

ный, весь в складках и морщинах — форменная руина спокойствия и порядка.

Иккос стал ходить вдоль противоположной стены, будто совершая послеобеденный моцион. Ровные шаги сопровождались шорохом песка. Шорох этот звучал как бесцельный отсчет мгновений, таявших в безмятежной тишине. Друзья Социона сидели, словно на берегу сияющей глади, прозрачной до самой глубины золотого дна. Мысли колыхались в них, как лодка со сложенными веслами.

Внезапно послышалось лошадиное ржание. Оно возникло где-то поблизости; животные, должно быть, находились рядом с гимнасием. Мгновенно все вскочили на ноги. Мальчики побледнели.

Лошади уже прибыли! Как пение петуха предвещает утро, так лошадиное ржание подает атлетам первый сигнал, что время проб и тренировок подходит к концу. Лошади появляются с началом последнего месяца, их осматривают и, занеся в список заездов, отправляют в Олимпию.

Весь плетрий выбежал на рынок. Посреди площади стоял табун лошадей. По копытам, закутанным в чехлы из лыка, и по белой пыли, которая покрывала их крупы, было видно, что их пригнали издалека. Эргофил сказал:

— Это сицилийские лошади.

— Откуда ты взял?

— Я узнаю людей Гиерона.

И он указал на прислугу — доезжачих и конюхов, у каждого из которых имелся серебряный наплечник с литерами сиракузского тирана. Они хлопотали вокруг своих животных, подводя их по очереди к элладнику, который спрашивал о возрасте коня, окидывал его наметанным глазом и записывал его кличку на глиняную таблицу.

На этот ритуал глазела толпа горожан, которая, заведев атлетов, приветствовала их возгласами. Мгновенно вокруг них образовалась давка, отовсюду смотрели восторженные глаза, кто был похрабрее, протягивал руку, чтобы коснуться их тел. Внезапно какая-то волна, налетев, подхватила Социона.

— Вы смотрите, что с ним делают! — крикнул Содам.

Но Герен уже бежал и расталкивал людей. Он

вырвал у них юношу и вынес из толчеи, взвалив его на спину. Социон перебросил ноги через плечи великана, подтянулся и уселся ему на закорки — точно молодой Дионис, едущий верхом на косматом Силене.







ЛУНА НАД ОЛИМПИЕЙ

Наступило третье новолуние после летнего солнцестояния. Огромный купол небес — от Кавказских гор до Столпов Геракла — разгласил эту новость по всему пространству греческого мира. Точно путеводная звезда взошла над горизонтом Олимпия. Из лесов и гор, из прибрежных песков побежали-потянулись дороги. Богам, глядящим с высоты, они могли казаться нитями, которые бегут к веретену. Неисчислимые, беспорядочные, запутанные, они, в конце концов, собирались в два-три волокна, пересекающих землю Элиды.

Первой ожила дорога, ведущая из Ахайи и в окрестностях Вупрасия соединяющаяся с другой, которая ведет гостей от западного моря из двух портов: Гирмины и Киллены.

Скрипели колеса в глубоких колеях по обеим сторонам дороги, на которой не разъехаться двум повозкам. Рядом бежала тропка для пешеходов и едущих верхом на лошадях, мулах и ослах. Двигались тор-

жественные процессии, высланные государствами и городами, и вместе с официальными депутатами влеклись простые пилигримы. Области, племена, города и общины держались вместе, их можно было различить по пустым промежуткам между партиями повозок, верховых и пеших. Иногда, если ломалось колесо или падала скотина в упряжке, порядок сминался, промежутки исчезали в возникавшей толчее и, в конце концов, останавливалось все движение, отовсюду неслись крики. Преграду убирали, поврежденная повозка оттаскивалась за обочину и могла теперь плестись лишь в самом хвосте. Там понемногу собиралось скопище растяп со всех концов света.

Все двигалось в такт с ленивыми шагами волов — главной тягловой силы. Жара налиwała ноги свинцом, мучила жаждой, животные ревом просили питья. Останавливались у каждого ручейка. Тут все оживлялись, молодежь сновала с полными ведрами, из рук в руки передавали холодные кубки. Некоторые раздевались, чтобы немного полежать на камнях в мелководье. Некоторые испытывали внезапный прилив бодрости и принимались петь. Лишь только встречалась роща или даже купа деревьев, как общество тут же рассаживалось в тени, кто-то играл на дудочке, кто-то угощал вином, и потом нужно было бегом догонять своих.

От солнца защищала шляпа с широкими опущенными полями. На многих были кожаные шапки, и, когда их снимали с головы, из-под них струились ручьи пота. Иные обходились косынкой, завязанной под подбородком. У многих же единственной защитой были собственные густые волосы, как правило длинные, заплетенные в косицу, которая была забрана в полотняный чехольчик, привязанный пониже затылка. Богачи из Сицилии и Великой Греции ехали в удобных повозках, развась под зонтиками. Некоторые возы с помощью холстины были превращены в крытые фургоны. Иногда в них сквозь щели виднелись бледные лица стариков, утомленных дальней дорогой.

После полудня возрастало раздражение, скандалы вспыхивали по пустякам, день длился бесконечно. С приходом вечера над шествием поднимался галдеж — одни хотели ночевать, другие настаивали ехать дальше, пользуясь ночной прохладой. Волы под уда-

рами бичей упирались рогами в повозки, идущие впереди. Но в конечном счете усталость одолевала всех, и среди ржания лошадей и ослиного рева люди засыпали, порой не договорив начатой фразы. Они валились на свежевспаханное поле, на колючую стерню, прямо при дороге, которая замирала среди сна и мрака, и такой заставлял ее рассвет — оцепеневшей, как от заклятья.

С первыми же лучами возникала суматоха, которая надвигалась откуда-то с хвоста. Где-то сзади появлялись новые повозки, люди требовали, чтобы им дали дорогу, все просыпались, расправляли затекшие члены, солнце выпивало росу из складок одежды, терпко пахло озоном.

Под Элидой разбивали временные биваки, которые то и дело обновлялись. По гимнасию слонялось множество народу, искавшего среди атлетов родичей, друзей или знакомых. В итоге Капр велел запереть ворота, чтобы не мешали тренировкам. Пришельцы допускались лишь в элланодикайон, где они давали свидетельства об атлетах из их общин. Никто не имел права задержаться дольше, чем на день, чтобы не мешать вновь прибывающим.

Дальше дорога карабкалась предгорьями Акрореи в направлении Эной, где вековые ясени нашептывали предания о царе Авгии и его волшебнице-дочери, собирающей травы на берегу Ладона. Купцы на день-другой задерживались в Алессии, где была ярмарка. Больных привлекали чудодейственные источники Гераклеи, бьющие из-под храма Ионийских Нимф. За Сальмоной, некогда столицей Сальмонея, которого Зевс убил молнией, открывался вид на долину Олимпии.

Она лежала клином между двумя реками: широкий Алфей встречался здесь со своим притоком — «шумнопенным» Кладеем. Среди взгорий, окружавших равнину, привлекали внимание холм Фрикс, на вершине которого виднелась из-за деревьев святынька Афины Кидонской, гора, на которой по сей день чернело пепелище разрушенной Писы, и, наконец, Кронион, гора Кроноса, отбрасывающая тень, благоухавшую хвоей сосен, на приникшее к ее склону святое место. Собственно, это была роща — виднелись высоко раскинутые ветви платанов и приземистая

серость олив, из которой выглядывали крыши двух-трех строений. Неподалеку взгляду открывалась большая поляна с конусом дымящегося алтаря. Отсюда разбегались две золотистые полосы: стадион и гипподром.

Ласковая тишина, успокоительная кротость ощущались в каждой линии пейзажа. Тот, кто попадал сюда впервые, останавливался в глубокой задумчивости перед скромной простотой Зевсоваго селения; фокийцы, воспитанные на суровом величии Дельф, взбирались повыше, откуда еще просторней разливалось спокойствие зеленых долин, лесистых холмов, реки, текущей среди высоких, поросших миртом берегов, замедляющей свой бег в излучинах, обтекающей пушистые островки в своем широком русле, чтобы где-то в беспредельной голубой дали достичь блестящего краешка Ионийского моря. Таково было обиталище бога, и если это место пришлось ему по душе, значит, такой должна была быть и его душа.

Между тем вокруг Олимпии ширилось людское полове.

От пристаней в устье Алфея двигался поток людей, которых доставляли небольшие корабли, стоявшие теперь на неглубоком рейде, другой поток шел с севера, от Элиды, третий — с юга, из Трифилии и Мессении, и, наконец, четвертый — с востока. Последний, самый людный, двигался большой дорогой, пересекавшей всю Аркадию от истоков Алфея, который проторил этот путь среди диких гор. С ним соединялись все дороги, ведущие с восточного побережья: из Лаконии, Арголиды, Коринфа и Мегар, а к этим, в свою очередь, подключались другие: из Аттики, центральной Греции, со всех островов Архипелага, из Малой Азии, с побережья Черного моря, поскольку многие корабли входили в порты Афин и Коринфа, чтобы не огибать весь Пелопоннес. И сейчас все это собиралось в долину меж двух рек.

Подъезжавшие повозки останавливались на расстоянии двух стадиев от священного округа. Здесь было оставлено свободное пространство, откуда Олимпийский Совет мог следить за порядком.

С рассвета до ночи его члены, окруженные мастигофорами — прислугой, вооруженной палками, — принимали прибывших. Первыми являлись архитеоры —

предводители процессий; они называли общину, число своих людей, повозок и животных и договаривались о месте под лагерь. Лучшие места, то есть те, что поближе, отдавались государствам и городам, особенно заслуженным в глазах Олимпии. Много значили личные связи архитеора. Ему приходилось попотеть, бегая от одного члена Совета к другому, упрашивать, заклинять, ссылаться на свои знакомства, козырять истинным или вымышленным родством, а если такового не было среди людей, — ухитряться находить его среди богов и героев своей страны. Так, олимпийскому Зевсу он присватывал какую-нибудь нимфу-землячку, выводя бесконечное потомство из этой связи и цепляя собственный род и свою собственную особу на одну из веток этой генеалогии. Доходило до ссор, когда кому-нибудь назначалось место в нескольких стадиях от Олимпии. Но и такое следовало поторопиться занять. В этом году оно могло оказаться едва ли не привилегированным. Трудно было представить, где останутся прибывшие последними.

Партия за партией отправлялась на свои места. Каждую сопровождал член Совета, дабы никто не нарушал назначенных границ. Это отнимало столько времени, что дороги превращались в злые, сварливые кочевья. Нередко после целого дня ожидания лишь к ночи освобождался проезд.

В долину, сотканную из серебряного света, входили как в сон, и многие, оказавшись на своей стоянке, тут же усаживались на землю, обняв поджатые к подбородку колени, и всматривались в скромные очертания Олимпии, вслушивались в тишину, напоенную росой, а нераспряженные животные с жалобным мычанием тыкались им в затылок своими мокрыми ноздрями, напоминая о себе.

Никто не ложился, пока не зайдет луна. Тысячи глаз следили за ее коротким странствием. Отражаясь в них, она утрачивала свою истинную форму, слишком загадочную в своей простоте.

Одним богиня Селена показывала свою золотую диадему на темных локонах, другим — венок из серебряных листьев, а не то освещала себе факелом дорогу среди ночной тьмы. Виделся ее глаз с платиновым блеском, нетронутая белизна щеки, краешек лба из-за приподнятой накидки. Ее провожали к пещере в да-

легкие горы или на берег потока, обтекающего землю. Ехала она на возу, на быке, на коне, на муле, на белорунном баране.

«Многоименная» рождалась от титанов, Гипериона и Теи, или же от Гелиоса, который в некоторых краях считался ее братом, а то и супругом. Она ускользала от человеческого воображения, как и ее свет, серебряно змеящийся по морской волне. Для многих чистая и нетронутая девственница, она в Немее считалась матерью чудовищного льва, в Аркадии — возлюбленной лесовика Пана, а людям из карийской Гераклеи был ведом некий грот в горе Латмос, где каждую ночь она склонялась над вечно спящим Эндимионом.

Но здесь, на элейской земле, где Эндимион был одним из первых царей, Селена родила ему пятьдесят дочерей — пятьдесят месяцев восьмилетнего цикла, священного круга двух олимпиад, и как раз теперь последняя из дочерей в «девственный» месяц парфений шла к своему полнолунью.





ПОД ШАТРАМИ

В речной долине вырос огромный и пестрый поселок. Тесно сгрудившись у священной округи, он редел в своих дальних ответвлениях, которые, впрочем, с каждым днем все больше заселялись. Круглые и четырехугольные шатры из кожи или холстины разного цвета группировались по общинам, которые были разделены узкими проходами. Но родственные общины тоже держались скопом, и эти большие скопления образовывали как бы государства. Здесь можно было видеть Аттику, Лаконию, Беотию, Сицилию — сотня границ греческого мира охраняла свою неприкосновенность и в этой толчее.

Однако многие поддавались соблазну безнаказанного их пересечения. Феспиец вдруг отправлялся на поиски топора, хотя имел собственный в шатре, и приносил его от византийца. Мессенец находил свою собаку в далеком Эпире. Остров Самос поил водой Марсилию. Сбывался детский сон, когда на ногах вырастают гермесовы крылышки. Мир отрекся от сво-

ей необъятности. Теперь его можно было исходить вдоль и поперек, вдоволь отведать заграницы.

Каждый лагерь выглядел по-своему. Расположение шатров, скопление повозок, место, выбранное под свалку, незначительные мелочи в видимом единообразии — все это невольно подчинялось особенностям родного края. Во всем чувствовался ритм гор, долин, побережий; животные вытягивали шеи в разные стороны, будто угадывая направление, где остались родные хлева и конюшни. В одеждах отражались все климаты: аркадцы, жители прохладных высот, не расставались с кожухами, вокруг бронзовой наготы обитателей Ливии ширилась пустыня, где нет ни воды, ни дождя, ни даже росы. И каждый будто принес с собой немного родного воздуха — каждый обоз имел свой запах. Он исходил неведомо откуда: от людей и утвари, потягивал из приоткрытых шатров, из отходов и мусора, в котором испускали последний вздох листья, травы и увядшие цветы, привезенные с багажом. Иной раз из складок плаща, который долго лежал в сундуке, вылетал мотылек, покинув кокон, запутанный в шерстяных нитях, и порхал вокруг, пестря невиданными красками, словно дух чужой земли.

Разнообразные обычаи сквозили в каждом поступке. В жестах людей сказывались пояса, меридианы, параллели, в них читался быт пастухов, земледельцев, купцов, моряков. Вертел в руках спартанца вращался точно боевое копьё, аргивянин сидел на скамье, будто верхом на лошади, житель лесов узнавался по бесшумному шагу. И все-таки мать-Греция, несмотря на различия, выглядела единым целым по сравнению с фантастической стихией колоний: Африка, Мберия, Галлия, Иллирия, Скифия, Сарматия, Сирия, Египет из глубины своей истории и таинственных цивилизаций обдавали своим дыханием сотни греческих городов, которые прерывистой цепью уцепились за их побережья. В каждодневном сосуществовании с варварами, на караванных путях, в сутолоке портов въедались в человека мысли, суеверия, повадки — как дорожная пыль въедается в поры тела. Душа покрывалась причудливыми узорами; улыбка, взгляд, жест будто выражались знаками неведомой азбуки. Но иногда достаточно было увидеть узел веревки или форму горшка, заметить мелкую морщинку в уголке

губ, характерное помаргивание века — этот видимый знак глубокой и потаенной бури чувств — как тут же из арабесок и криптограмм проглядывало чудесное братское подобие.

Тысячью неожиданностей люди отдалялись друг от друга и сближались вновь. Язык, раздробленный на неисчислимые наречия и диалекты, поросший в колониях чужеземными сорняками, создавал досадные недоразумения. Обычная вещь, какой-нибудь бытовой предмет окутывались вдруг тайной, которую невозможно было прояснить на противоположных концах лагеря. Выговор, ударения, придыхание — все подчинялось непонятным капризам, так что нельзя было доверять даже гласным, настолько видоизменялись они от положения языка, гортани и губ. От слов порой оставался голый ствол, лишь остов звучания, которому в незапамятное время вверен был смысл данного понятия. Но до чего же быстро и надменно разрастались эти чужаки в слухе и в сердце! Единожды ухваченные и усвоенные, они находили себе почву, распускали ветви, покрывались пышной листвой — и, в конце концов, образовалась роскошная тень, тень пространства и времени.

В явственном ощущении общности сквозили очертания первичного быта, когда все колена еще жили вместе, когда такой вот лагерь, окруженный шорохом северных степей, еще только мечтал о странствиях и набегах. Где это было? Когда? Никакая память, никакой миф не упоминают об этом. А ведь существовали же времена, когда не было ни дорийцев, ни эолов, ни ионийцев, а был единый народ, скрепленный теми самыми узами, которые и сейчас позволяют одинаково понимать разнозвучающие слова. Иначе откуда бралась бы эта чудесная ниточка тепла, которая, можно сказать, к самой душе пришивает каждую малейшую примету сообщности?

Многие были знакомы по прежним олимпиадам, встречались товарищи по каким-нибудь совместным похождениям, узнавались лица, виденные в далеких портах, в полумраке постоянных дворов; самые неисповедимые человеческие пути, которые некогда случайно пересеклись, неожиданно сходились вновь. То и дело слышались шумные приветствия.

— Зевсом клянусь! Кого я вижу?

— Никак снова попал в шторм?

— Еще в какой! Я уже слышал пение Сирен.

— Да-а. В нашем возрасте можно бы и дома остаться.

— Ну, нет. Ужасно подумать, что умрешь на кровати, на которой родился.

— Что там годы!..

Каждый чувствовал себя таким молодым, что и весь мир представлялся ему в возрасте вон той девушки, которая промчалась между шатрами. Вот она исчезла, и лишь голос ее слышен за холщовой дверью, ее мягкий, легкий голос, золотая песчинка среди всего этого мужского скрежетанья, которое внезапно умолкло.

Во всем лагере нет ни единой женщины. Они остались дома: олимпийский закон запрещает им входить в Священную рощу во время игр, даже Алфея им нельзя пересечь. Там, за рекой, в направлении Скиллунта, видна Типайская скала, откуда сбросили бы провинившуюся. На людской памяти такого еще не случилось. Но закон уважают, хоть и никто не помнит, откуда он взялся. Какое-то забытое суеверие древней землепашеской жизни отогнало женщин, дабы не подрывали силу урожая, отстранило от участия в олимпийских обрядах, точно так же, как не допустило их к культу Эвноста, покровителя зерна в Танагре, и как закрыло для них святилище Кроноса. Лишь девушки пользовались извечной привилегией своего целомудрия.

Среди них была одна, чье имя распространилось по всему лагерю.

Она шла опираясь на руку отца, почти равная ему ростом. Дорийский пеплос своим нехитрым покроем не поглощал ее тела, не погребал его под обилием материи. Ощущалась упругая зрелость ее форм сквозь этот кусок сукна, туго стянутый в поясе и ниспадающий длинными параллельными складками. При каждом шаге складки расходились, сквозь мягкую ткань проступала совершенная форма ноги. Широкая в плечах, со смелой грудью, которая пружинила под прикрывающей ее апоптигмой, смуглостью рук, шеи и ног, обутых в сандалии, она рассказывала миру о своем теле, вращенном приморским солнцем и ветром.

Рожденная в Скионе, на Палленском полуострове,

Гидна сопровождала своего отца Скиллия, когда он выбирался на лов губок. Полудетскими еще руками она отрывала от подводных камней эти живые кусты. Она становилась все смелее, все выносливее в борьбе с морем, с толщей воды, в которую она погружалась, все проворнее и точнее в своей работе в голубом подводном сумраке. Легкие ее развились до необыкновенной силы вдоха, воздуха под водой хватало ей настолько, что Скиллий, выныривавший первым, всякий раз должен был переживать все тот же страх и ту же радость. В конце концов, она выныривала, над водой на мгновение взлетала ее грудь, ходуном ходившая от работы легких, которые, казалось, готовы были вдохнуть весь мир, и вот уже она снова была сплошным сияющим движением, частицей текучей стихии, покамест не расставалась на берегу с последней волной.

Она никогда не думала, что ее умение может пригодиться на что-то другое, кроме ловли губок. Но вот приходит война, сумерки мира, безбрежное человеческое половодье смывает их дом, а море вскипает от тысяч весел — и вот уже их лодка, прицепленная к незнакомому кораблю, плывет вместе с северо-восточным ветром. Неведомо, сколько времени носило их в этом диком вихре. Небо, море и земля кричали всеми возможными языками, в которых ни единое слово не походило на человеческую речь. Все, что поняла за это время Гидна, умещалось в следующей фразе: «Нужно им пообрывать якоря». Это был голос отца, тихий и сдавленный, еле различимый в реве бури среди черной, как земля, ночи.

И началось подводное странствие. Они подплывали под корабли, возились там в густом, бурлящем мраке, покуда их руки не нащупывали якорный канат; тогда они дергали его, вырывали из дна железные клыки и всплывали на поверхность глотнуть воздуха. Ураган молниеносно пронзал им легкие; скрипение корабля, влекомого ветром, и отчаянный крик команды на миг умножали громы бури, но они ныряли снова, и новый корабль уносился в пучину ночи. Несколько десятков персидских кораблей отправили они на погибель.

И это сделали они — Скиллий из Скионы и его дочь Гидна. Они сами принесли эту весть, проплыв

в одну из последующих ночей из Афет в Артемисий.

— Ты смотри, эта девушка проплыла восемьдесят стадиев.

— Думаешь, у них не было лодки?

— О какой лодке ты говоришь? Спроси Ликомеда, сына Асхрея, если он где-нибудь поблизости. Он был триерархом того корабля, к которому подплыла девушка. Он бросил ей канат. Она вскарабкалась скорее, чем это сделал бы ты.

— И причем явились они не с пустыми руками. Наши военачальники только благодаря им узнали какую-то правду о передвижениях персидской флотилии.

Это прекрасно — такая девушка и такой лагерь, полный великих свершений!

По счастливому случаю, оказались рядом шатры афинян, спартанцев, тегейцев, коринфян, сикионцев, эпидаврийцев, трезенцев — недоставало только святыньки Андрократа и источника Гаргафии, чтобы эти невысокие холмы и окрестную равнину можно было принять за поле битвы под Платеями. Товарищи по оружию приветствовали друг друга с радостным изумлением, как встречаются люди, пережившие трудные времена. Над ними витал гомон воспоминаний. Кто-то кому-то спас жизнь, кто-то кого-то вынес с поля битвы, раненные показывали друг другу шрамы. Вздохом поминали души погибших. А когда не хватало слов, говорили: «Клянусь Зевсом! Клянусь Палладой! Гермесом! Эаком!..» Целый Олимп звучал в их радости.

Собирались большими группами и, держась за руки, выкрикивали: «Саламин!» или: «Платеи!», чтобы привлечь внимание тех, кто располагался слишком далеко. А потом уходили в сторону Арпин, где было безлюдно, и усаживались в круг.

Обуревало желание снова вспомнить былые дела, поделиться воспоминаниями. Никакие архивы и хроники еще не тяготели над событиями, которые носились в воздухе, не потеряв прелести новизны.

А в это время на далеком карийском побережье двенадцатилетний мальчуган пока еще играл раковинами или погонял запряженную в возок собаку, и пройдет еще какое-то время, прежде чем отправится он странствовать по свету, и многое услышит из уст

людских о былом, и навечно запечатлеет в книге, которая будет начинаться так: «Геродот из Галикарнасса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов, так и варваров не остались в неизвестности».

Через пять олимпиад услышит его весь народ. Здесь, в тени священной округи, раздастся поверх развернутого папируса сладостное звучание ионийской речи. Время повернет вспять, и черед великих лет спрессуется в несколько часов всеведущего слова. Новое поколение, которое в день Марафона спало, подняв кулачки кверху, а после Саламина мальчишечьим голосом распевало пэан, и еще более юное, которого эти названия убаюкивали на коленях деда, получит наконец в цельной картине все, что жило распыленным в рассказах и пересудах. А старики, приставив к уху ладонь, будут удивляться, что не могут припомнить этого человека, который говорит тем не менее так, будто некогда был одним из них, хотя ни единый седой волос не свидетельствует о его принадлежности к тем временам.

И что бы ты сам ни думал обо всем этом, отныне нужно будет от своего мнения отречься, ибо кто может спорить своим бессильным словом с этим искусством мелодических фраз? И тогда прекратятся споры о том, кто указал персам дорогу через Фермопилы — Эфиальт или Онет, и будет поздно пристроить и свое имя в сумятицу битвы над трупом Мардония. Все станет решенным и окончательным, и сколько теперь ни стучи палкой о землю, сколько ни хватай людей за плащ — не перекричать тебе своим старческим голосом голоса истории.

Конечно, никто не думал, что так произойдет. Для этих людей существовала единственная книга, извечно одна и та же — книга памяти и традиций, изменчивая и подвижная, запутанная, как извилины человеческих мозгов, но зато не подвластная никаким бедствиям — пожарам и катастрофам.

Сейчас они трудились над новейшими ее страницами. Там уже было множество вычеркиваний, вставок и добавлений. Каждый надеялся хотя бы сноской уцепиться за край какой-нибудь из страниц. Для этого нужно было силой голоса, удачным словом или

подробным описанием обстановки овладеть вниманием возможно большего числа слушателей, вломиться в их воспоминания и преобразовать их настолько, чтобы учинить в них брешь в размер собственной особы. Это сделать нелегко, поскольку все пришли со сходными мнениями, и с первых же слов поднялся галдеж. Может, разумнее помолчать, вон как тот толстяк, который положил руку на раздвинутые колени, улыбается и своим тяжеловесным спокойствием бередит людское любопытство? Никто его не помнит.

Зовут его Аминокл. Он родом из Коропы над Пагасийским заливом. Там были у него дом, лодка, двое рабов и сети. Не ахти какой достаток, но жить можно, поскольку рыбы всегда хватает. А тут вдруг говорят, что великий царь идет на Элладу. Трудно было не поверить, тем более что уже слышать шум весел. Правда, царские корабли пристали к другому берегу Магнесии, но Магнесия так узка, что все на этой стороне слышно. Флот остановился меж городом Касфанеей и мысом Сепиадой. Часть кораблей вытащили на берег, часть поставили на якорь. Так и переночевали в абсолютной тишине и покое.

Но на другой день море взволновалось, поднялась буря, налетел сильный ветер с Геллеспонта. Эту бурю, как всем известно, устроил Борей по просьбе афинян, поскольку он женат на их бывшей царевне. Все корабли, стоявшие подальше от берега, унесло в море и выбросило часть из них на Ипны под Пелионом, часть — на мыс Сепия, а остальные — на берег под Касфанеей и под Мелибеей. Это именно тогда Скиллий со своей дочерью отцепили якоря у многих кораблей. Аминокл видел бурю, видел, как она налетела и как окончилась три дня спустя; рассказывали, что четыреста царских кораблей было разбито в щепки. А потом при спокойном море остатки флота обошли берега Магнесии, и вошли в залив, и остановились у Афет, откуда Ясон некогда отправился за золотым руном. Тогда по всему побережью было полно персов, а встреча с ними — не из самых приятных.

Аминокл перешел на другую сторону, где не было ни души. Ласковые, спокойные волны накатывались на берег и время от времени приносили доски, балки, весла, останки кораблей. Если бы не синие и распухшие, пропитавшиеся водой трупы, которые разлага-

лись под летним солнцем, можно было бы сказать, что не всякое жилище сравнилось бы с каютой корабля, разбитого и заклиненного меж двух скал на пустом берегу в безграничном покое моря и неба. Там он пересидел всю войну и не жалуется, что напрасно потерял время. Волны все умножали его добро. Всякий день было полно работы: разбросать, к примеру, груды мокрого дерева и ржавеющего железа, под которыми можно было обнаружить довольно ценные вещи. И ведь обнаруживал, и даже больше, чем предполагал. Там были серебряные и золотые сосуды, шкатулки с монетами, амулеты, разные вещицы не всегда понятного назначения, зато всегда на них что-нибудь блестело.

Он не назвал никакой цифры, никто этого и не ждал, каждый в соответствии со своим воображением представлял себе эти груды золота. И все с наслаждением предались домыслам, и звон золотых слитков в голове заглушил его последние слова. Видели, что Аминокл еще шевелит губами, что разводит руками, что в глазах его будто слеза блеснула, но лишь те, кто сидел поближе, поняли, что речь идет о детях, скорее всего — о его детях, которые умирали. Никто не поддержал его в грусти — слишком он их насытил своим счастьем.

Они были бы не прочь это счастье разделить. Солдаты, у которых шлем на лбу навсегда оставил белый желобок, забыли первоначальную досаду, что толстяк так долго занимает принадлежавшее им по праву внимание. В них победил купец, которого каждый носил в себе, и в тайниках души они стали снова перебирать богатство, которое им принесла победа.

С восторгом стали они припоминать персидские сокровища. Из их речей вновь вставали расшитые серебром и золотом шатры, кровати, отделанные слоновой костью, кубки, чаши, столовые приборы, драгоценное оружие. Еще раз пронзила их внезапная дрожь, когда они вспомнили, как обнаружили на телегах, на простых обозных телегах, мешки, набитые котлами, чугунками и мисками из тяжелого серебра. Да и мертвецам, ясное дело, не оставляли дорогих сабель, кинжалов, браслетов, цепочек, серег и перстней. У всех перед глазами стояла как живая эта красочная и сверкающая гора, вокруг которой вертелись

писцы и учетчики. Лаконские илоты брали каждую вещь по отдельности, передавали для записи и относили на склад.

Добычу делили честно, каждый получил что положено — рабами, женщинами, золотом, серебром, поголовьем скота. Но илотов, конечно, слишком надолго оставили без присмотра. Постеснялись высказаться крепче по этому поводу из-за эгинцев, присутствующих тут же. Всем известно, что они на этом деле основательно нажились — недаром они происходят от муравьев. Они каким-то образом втерлись в доверие к илотам и повытрясли из них без счета золотых и серебряных вещей. Те продавали охотно — деньги всегда легче спрятать и пронести, но в этой бойкой торговле из-под полы золото шло по цене меди.

Эгина — остров маленький, можно представить, как туго набился такой небольшой кошелек! Была минута тишины, которую эгинцы переждали полузакрыв глаза. Все смотрели на них. Купцы из Милета, из Византии и Коринфа поглаживали бороды, спокойно раздумывая об этом достатке, которому никак не миновать их портов. Люди из Великой Греции и Сицилии не выказывали интереса: для них вся Греция представлялась кучкой голодных оборванцев, ссорящихся из-за полуобглоданных костей. Афиняне же прикидывали, что этот скалистый треугольник в Сароническом заливе лежит в каком-нибудь шаге от их берегов и что самое время этот шаг сделать. В скрестившихся взорах сверкнули торговые договоры, союзы и войны.

Чуть погода заговорили о том, сколько добра удалось спасти персам. Прежде всего — отплыл Ксеркс, а того, что он при себе имел, вообще не измерить греческими финансовыми мерками. Называли разные цифры, которые чудовищно увеличивались, пока обходили круг. Над людьми нависло гнетущее видение богатства, все сгорбились под ним, уничтоженные собственной нищетой. Им увиделись бегущая на север армия Артабазы, флот царя, отплывающий на восток, два горизонта внезапно захлопнулись, как створки дверей — когда знай успевай отдернуть пальцы, чтобы не отдавило. Все ощутили бессильное отчаяние, будто их кто-то надул, обокрал, ограбил.

В окружившей их внезапно пустоте повеяло холо-

дом, столь знакомым их душам холодом, которого им никогда, пожалуй, не забыть. Его почуяли с первой вестью о походе Ксеркса, и было так, будто судьба взмахнула огромными черными крыльями. Греция увиделась тогда такой, какой была на самом деле: маленькой, тесной каморкой, на которую рушилось мироздание. Они были убеждены, что сражаются с целым светом. В войске великого царя находились отдаленнейшие народы земли, от эфиопов до индусов. Сколько их было? Никакая цифра их сейчас не могла удовлетворить. Неумоимо складывали, перемножали. Напоминали друг другу все новые рода войск и с каждым припоминанием набрасывали по тысячам, по десяткам тысяч. Когда добрались до трех миллионов, у них попросту не оказалось сил продолжать дальше. Но тут кто-то вскочил и крикнул, что нужно это умножить на два, и завалил их кучей кораблей, которые везли зерно, убойный скот и всякую утварь. Но оказалось, что, подсчитывая солдат, напрочь забыли о рабах, маркитантках, поварах, гетерах и евнухах. Перетруженное воображение отказывало, и людской муравейник роился в нем и множился до бесконечности.

— Подумайте, — говорил один из коринфян, торговец зерном, — если каждый получал лишь хойникс пшеницы, даже не больше, то ежедневно требовалось одиннадцать раз по десять тысяч и еще триста сорок медимнов. А ведь я не учитываю женщин, евнухов, тяглового скота и собак.

Мысленно они увидели, как протянулись длинной шеренгой огромные каменные амбары, нужные для размещения этой одновременной порции еды, раскинулись поля пшеницы, которым стало слишком тесно среди гор и камней Греции. К ним подползало чудовищное туловище, пестрое, многоцветное; панцири, шлемы и щиты походили на чешую, копья стояли густой щетиной — дракон, новый Тифон грозил богам и людям Эллады. Но буквально на глазах эта тяжкая масса распадалась, теряла свою монолитность, от нее отваливались все более мелкие куски, так, что, в конце концов, оставалось перед тобой несколько человек на расстоянии вытянутого меча. Под старинными одеждами, под складками длинных плащей, под широкими узорными шароварами были рыхлые и слабые

тела, в которые железо входило, как в тесто. Каждый сохранил в руке, сжимавшей рукоять меча, ощущение этого мягкого тычка, и острое клинка представлялось ему унизанным душами погибших, как пурпурный цветок — роем пчел.

— Я расскажу вам кое-что, о чем не все знают, — подал голос Лампон с Эгины. — Ксеркс, удирая, оставил Мардонию все свои кухонные причиндалы. Когда мы захватили обоз, Павсаний увидел эти вещи: золото, серебро, ковры — и велел царским поварам и пекарям подать обед так, будто подают Мардонию. Можете себе представить, что они сделали все как нельзя лучше. Было на что посмотреть — на все эти столы, где хрустальные бокалы казались дешевкой, а блюд было столько, что в нашем языке для половины нет названий. Павсаний даже пришел в ужас и говорит: «Подайте мне наш спартанский обед». Ему принесли две глиняные миски и поставили на стол среди всей этой роскоши. Павсаний чуть не лопнул от смеха, а потом обратился к нам: «Смотрите, эллинские мужи, смотрите на глупость перса, который, имея такие яства, выбрался в далекий и опасный путь, чтобы отнять у нас черный хлеб и тарелку пустой похлебки».

Все смеются, но кто-то выкрикивает:

— А может, ты расскажешь нам про другой свой разговор с Павсанием?

Лампон бледнеет, потом краснеет, на лбу его выступает пот. Ему душно под сотнями устремленных на него глаз. Он молча встает и уходит.

— Что это с ним?

— А вы не знаете? Я был при этом там, под Платеями. Наш Лампон прибегает к спартанскому царю и говорит: «Сын Клеомброта, ты совершил невозможное. Бог позволил тебе спасти Элладу и заслужить славу, какой никто никогда не имел. Доверши начатое, чтобы слава твоя еще возвысилась и чтобы в будущем никакой чужак не осмелился поднять меч на эллинов. Мардоний и Ксеркс отрубили голову Леониду в Фермопилах и прибили ее на крест. Нужно им отплатить тем же, и если ты распнешь Мардония, ты отомстишь за дядю своего Леонида». А Павсаний ему в ответ: «Эгинский друг, я ценю твою верность и

рассудительность, но тут ты не прав. Если ты прославляешь меня, и мою отчизну, и мои дела, так зачем же ты меня хочешь унижить? Ведь ты меня втаптываешь в грязь, советуя измываться над трупом, и еще говоришь, что этим я увеличу свою славу! Это годится варварам, но не эллинам, и даже среди варваров считается позором. За Леонида нужно отомстить, это правда, но мы за него уже отомстили. Мы принесли ему в жертву бесчисленные души тех, кто здесь полег, и тех, что погибли при Фермопилах. И ты не вздумай прийти ко мне вторично с подобным советом и радуйся, что я отпускаю тебя безнаказанно». Теперь вы знаете, каков этот Лампон!

Всеми, помимо спартанцев, овладела лихорадочная болтливость. Говорили по несколько человек разом. Толпа густела. В нее тайком закрадывались люди, которым здесь решительно нечего было делать. Но в общем гомоне хорошо иметь рядом охочее ухо. Незнакомец сидит и слушает, глаза у него блестят, он улыбается и приговаривает: «Так, так. Вот, оказывается, как было, любезный». Иной сам вдруг влезет в разговор и пойдет болтать во всеуслышание, но, как только начнут приглядываться к нему повнимательней, тут же смолкает.

Одному богу известно, что значит для человека такая тишина, когда недосказанное слово застревает в горле, а руки, замершие на полужесте, немеют под тяжестью целого города или даже целой изобличенной страны. Потому что все сразу понимают, потому что давно уже на счету каждое государство, каждая община, каждое послание, которое не присоединилось к великой национальной обороне, не говоря уже о тех, кто сражался на стороне персов.

Но если сидеть тихо, тебя не заденут. Никто здесь не отпугивает людей презрением. Разве только фокийцы хотели бы встретиться хотя бы с одним жителем Фессалии, будь это даже полное ничтожество, хромой, горбатый, последний фессалийский отброс, чтобы плюнуть ему наконец в глаза перед целым светом.

Измена Фессалии общеизвестна. Подчиняясь своим князькам, она сдалась великому царю и пошла с ним против Греции, сжигала города, опустошала земли. Фокида была изувечена ею. Этого нельзя от-

рицать. Но фокийцы напрасно так шумят. Между ними и Фессалией стародавняя ненависть. Пойди Фессалия против царя, они были бы с царем и жгли бы фессалийские города. Это уж точно. Нужно, однако, признать, что вышло иначе, и фокийцы храбро сражались, и потери их были огромны. А Фессалия — банда предателей. С ней могут сравняться лишь Фивы. Потому в Олимпии сейчас нет ни тех, ни других. Бог с ними, с фиванцами, только вот жаль, что нет отборных фессалийских скакунов.

Эта мысль вытеснила у них воспоминания войны, и все потянулись в сторону гипподрома, где были конюшни. Некоторые еще наскоро достраивались из первых попавшихся горбылей и досок. Из-за жары лошадей держали взаперти. Перед холщевыми заслонами, скрывавшими вход, стояли рабы. Вокруг вертелось множество народу, безуспешно пытавшегося их разговорить; так и отходили, не дождавшись ответа. Иногда кое-кому удавалось приоткрыть заслон, и глаза впивались в черную щель, откуда доносились шорохи и резкий запах животных. Поговаривали, что в этом году будет много персидских лошадей, совершенно великолепных. Эти предположения подтверждались наличием среди конюхов нескольких персов. Каждому были отлично знакомы их суконные шапки, пестрые кафтаны с рукавами и широкие шаровары. От них неприятно пахло немытым телом, закупоренным под толстой и тесной одеждой.

Это были пленные из раздела добычи. Они бледнели, стоило кому-нибудь приблизиться, и казалось, что жизнь в них поддерживается постоянным изумлением, что никто не обижает их. На прохожих они смотрели с собачьей покорностью, будто им были обязаны целостью своих носов, ушей, глаз и прочих частей тела, которые, по их разумению, переставали быть собственностью пленника.

Запертые конюшни не способны были надолго приковать внимание, и толпа медленно рассасывалась и впитывалась в шумливый говор торжища.



ленном фартуке, он отгонял веткой больших синих мух, единственных посетителей своей лавки. В такую жару трудно было соблазнить кого-нибудь видом мяса, и, судя по сизым пятным, следовало полагать, что оно станет добычей привязанных под телегами собак, которые выли от голода и жажды.

Далее шло тихое царство хлеба. Продавали пшеничную и ячменную муку разнообразного помола, имелась даже мельница, жернова которой вертел осел. Из-под жерновов сыпалась мука, наверняка свободная от примесей. Под тентами сидели купцы из Ольвии, окруженные мешками с зерном. Здесь вели оптовую торговлю: договаривались о поставках в города, пострадавшие от неурожая, о торговых концессиях; заключали союзы факторий; к тому же сюда приходили земледельцы поговорить о мелиорации. Ольвийцев слушали с уважением, отдавая дань их состоятельности и опыту. Обитая у днепровского лимана, они соседствовали с безграничными пространствами тучного чернозема. Они рассказывали, что у них обитает Ахилл, которого морские богини перенесли туда после смерти. Длинная песчаная коса, врезающаяся в море, служит ему стадионом, и нередко можно видеть быструю тень героя, уносящуюся точно облако. При этом они ссылались на очевидцев-моряков, как будто наблюдать такую быстроту и то было чрезмерным усилием для их жирных, расплывшихся тел.

Под их тентами благоухали столы с изделиями из теста. Каждому осточертели опресноки, твердые лепешки, которые ели на первый завтрак, кроша в вино. Многие жители гор и пустошей впервые в жизни видели настоящий пшеничный хлеб, с темной корочкой и чудесным белым мякишем. Иные долго перебирали булки, дивясь разнообразию их форм: они имели вид морских звезд, полумесяцев, всевозможных зверей. На широких досках приносили ватрушки с сыром, с кунжутом, печенные на меду, с пылу, с жару.

Лотки с фруктами привлекали румянцем яблок, золотом груш, сладким запахом фиников. Покупая орехи, требовали их прямо с листьями, которые, если положить их в постель, прогоняли насекомых. Из-за зеленых ворохов сердушника и дягиля, среди пучков салата, над венками чеснока и лука вырастали горы сикионских огурцов. Те, кто их покупал, неизбежно

натыкались на киприота, имевшего рядом раскладку с кореньями. Он за большие деньги приобрел где-то мешочек перца и громогласно его славил. Он распространялся об Индии, которая лежит на краю земли, о бурных морях, о летающих драконах, и мелкие черные зернышки, лежавшие у него на ладони, становились трофеем потрясающих приключений, многим людям стоили они жизни, а вот он готов отдать один кьятос за каких-то два обола.

Никто, понятное дело, не был способен на такое расточительство. Но красноречие киприота делало пресным всякое привычное блюдо, высмеивало осторожность людей, которые, как он заявлял, никогда носа не высовывали дальше своих дверей, и когда он, прикрывая козырьком ладони глаза, высматривал, не идут ли «его постоянные клиенты, господа сицилийцы», тот или другой заключал с ним сделку на пол-обола.

Харчевни узнавались издали по запаху подгоревшего оливкового масла. Под навесом из холстины стояли врытые в землю печи с несколькими топками, над которыми железные треножки поддерживали котлы и вертелы. Можно было видеть, как свежеобмытую и очищенную рыбу кладут на противень, как ее поливают маслом, вином, приправляют кореньями и, наконец, выложив на блюдо, присыпают сверху щепоткой сильфона, который придает ей соблазнительный запах.

Люди едят стоя, кто ложкой, кто прямо руками, откусывая хлеб, который держат под мышкой. Тарелку возвращают хозяину, дочиста вылизав, жир с бороды и губ стирают хлебным мякишем, и этот влажный, липкий комочек бросают курам, которые с кудахтаньем толкутся под ногами.

Теперь вряд ли кто откажется от кубка вина. Винные погребки располагаются под беседками из трех-четырех столбов и перекрытия из ветвей и листьев. При каждом имеется выкопанная в земле яма, чтобы держать в ней охлажденными глиняные жбаны. Из трех сортов вина — черного, которое имеет цвет темной венозной крови; белого, светлого, как солома; и желтого, с золотистой искрой — это последнее полезнее всего для желудка. Потому что черное — чересчур густое и крепкое, а белое — жидкое и слабое.

Понятно, что у каждого свои вкусы, и знатоки долго колеблются между флиусским, сикионским, хиосским, лесбосским, тасосским, родосским и книдским, как блуждающий по волнам корабль. Впрочем, чистого вина не пьет никто. Его на две трети разбавляют водой, даже на три пятых. Запыхавшиеся мальчишки бегают с гидриями к источникам за несколько стадиев. Кое-кто из клиентов ограничивается одной водой и с восторгом подносит к губам холодный кувшин. В другом месте разносят особое вино, заправленное соком миртовых ягод, с дурманящим запахом. Слоняются перекупщики с вином из яблок, из фиг, из фиников.

Но только за границей этого царства начиналось настоящее столпотворение.

Необозримые ряды лавочек, число которых увеличивалось с каждым днем, содержали в себе решительно все, кроме оружия. Его не было не только у торговцев, но и в лагере его не имел никто. Пилигримы из дальних краев, чья дорога пролегла через горы и безлюдные пуши, где трудно было рассчитывать на указ о всеобщем мире, приезжали вооруженные, но все свое оружие оставляли на границе Элиды. Там, на специальных складах, хранились их мечи, луки, дротики, пращи до поры, когда они востребуют их на обратном пути. Итак, кроме оружия, здесь можно было найти все, что может понадобится людям, заброшенным за сотни и тысячи стадиев от дома. Всевозможные инструменты, гвозди, колеса для повозок, сосуды — все это, собранное в огромном количестве, представлялось на первый взгляд обычной барахолой, предназначенной для того, чтобы заткнуть непредвиденные и вопиющие дыры в хозяйстве. Но редко кто целенаправленно протискивался сквозь толпу, чтобы купить нужную вещь и вернуться с ней к себе. В сущности, ни у кого ни в чем не было недостатка. Каждый отправлялся в дорогу, запасаясь всем необходимым на несколько месяцев вперед, и в багажах скорее нашлось бы лишнее, чем выявилась нехватка необходимого. Несмотря на это, все выбирали, торговались и, нагруженные всякой всячиной, неутомимо сновали в поисках чего-то еще

Сосуды из афинских гончарен привлекали изысканной формой и занимательным содержанием сцен, ко-

торыми они были расписаны. Милетские кресла, стулья и табуреты не имели себе равных по удобству, красоте древесины и мастерству отделки. Спрашивали веревки от канатчиков из-под Марафона. Коринфские купцы ударяли ложками в тазы, чтобы слышен был чудесный звон их бронзы. Ювелиры за деревянной решеткой среди своих радужных сокровищ демонстрировали тайну янтаря, который, если его потереть о сукно, притягивал нитки и шерстинки. Вокруг прилавка с мазями и притираниями витали разнообразнейшие запахи, многие из них просто-напросто не имели названия и вкрадывались в душу как таинственный шепот неведомой земли. На восточных коврах грифоны и крылатые быки сторожили древо жизни. Финикийский пурпур отливал густым и темным цветом моря в фиалковых сумерках.

Из колоний понавозили редких животных. Были здесь львы, пантеры, обезьяны, вызывавшие взрывы хохота своим сходством с человеком; страусы прятали свои маленькие головки прохожим в плащи. Мегарец, которому из персидской добычи достался верблюд, катал на нем мальчиков, беря половину обола за три поездки. На высокой жерди топтались беспокойные и крикливые павлины, а рядом тянулся длинный дощатый помост, на котором продавали рабов. Они в большинстве своем были голые, у мужчин щупали мускулы, девушки и женщины сидели за прялкой или вышивали, чтобы показать свое умение. Лишь военнопленным была оставлена одежда: каспийцам — меха, хилабам — красные обмотки на ногах. Сицилийцы привезли дюжины две карфагенцев, взятых под Гимерой. Несмотря на высокую цену, их покупали, надеясь, что этим землякам Кадма известны редкие ремесла и искусства, а также чары. Несколько арапчат из Эфиопии с курчавыми, высоко взбитыми волосами, с телами, будто отлитыми из бронзы, искоса поглядывали на толпу, откуда чужие руки должны были протянуться за их красотой и свежестью.

Люди, чьи мечты никогда не шли дальше хитона или хламиды, сотканных и скроенных рукой матери, жены или невольницы, терялись и смущались при виде полотна и шерсти всех цветов (чаще всего белого, желтого, красного и зеленого) и готовых платьев в узорных рисунках. Имелись также плащи в цветах,

в звездах, с фигурами зверей, с военными, охотничьими и мифическими сценами. Один византиец развернул великолепный наряд, где по зеленому полю были вышиты золотые утки; не успел никто прийти в себя от восхищения, как из толпы шагнул детина в грубом кожаном кафтане, достал из-за щеки серебряную монету, заплатил не торгуясь и, перебросив плащ через плечо, отошел, не слушая издевок, ошеломленный собственным безумством.

Каждый хотел унести с собой какую-нибудь частицу непостижимого разнообразия мира. Ничтожнейший предмет превращался в памятку и казался чем-то особенным благодаря необычной форме или непривычному способу выполнения. Здесь не было двух одинаковых вещей. Над каждой потрудились самобытная мысль, сноровка и умение. Вместе с замыслом ремесленник вкладывал в свой труд традицию, обычай, настроение, атмосферу своей среды. Покупки отправлялись в дальний путь, чтобы жить среди других людей, как горсть застывших слов, как сжатый и убедительный рассказ о горизонтах, которые отнюдь не кончаются за околицей родного селения. Формы, линии и мотивы, как лианы, цеплялись за новую почву, развивались или переиначивались под руками людей, вдохновленных их иноземной самобытностью, влеклись по следам караванов и военных походов, чтобы неожиданно вплестись в быт стран и народов, живущих за пределами фантазии — в фиордах Скандинавии, на славянских равнинах, в пустынях Тибета.

Те, кто победней, одолев оторопь, вызванную роскошью богатых лавок, толпились вокруг мелочей, которые трудно было даже оценить: их брали по несколько на четверть обола. Дудочки, корзинки, детские повозки, куклы из воска и глины с подвижными руками и ногами, ленты, серьги и перстеньки из бронзы и меди, глиняные светильники — бесконечное множество ломких и хрупких предметов, которым так опасна будет обратная дорога. Нужно взять их про запас и побольше, чтобы не осталась праздною протянутая за ними рука, чтобы положить что-нибудь в эту ладонь, которая так долго прикрывала козырьком глаза, высматривая среди зноя и пыли повозку мужа.

Посольства и пилигримы, особенно из близких краев, приводили собственных жертвенных животных,

но большинство покупало их в Олимпии. Волы, телки, овцы содержались большими стадами в загонах и стойлах вдоль побережья Алфея. При каждой покупке спорили до бесконечности. Животное осматривалось от копыт до кончиков рогов, покупатель ощупывал каждую часть тела, будто надеялся сквозь шкуру прощупать внутренности, и казалось, что он считает шерстинки — так беспокоило его всякое пятнышко на их непорочной белизне. Донимала ужасная неуверенность: а вдруг у животного выявится какой-нибудь изъян, какое-нибудь пятнышко и в результате его не допустят к алтарю? Быкам насыпали ячмень, и если они ели недостаточно жадно, заключали, что они больные. Люди бранились, торговались, отходили, призывали на совет всех родичей и знакомых и снова возвращались, боясь, что в последние дни поднимутся цены.

Те, у кого не было пяти драхм на вола или трех — на телицу, ни даже одной драхмы на овцу, стояли чуть в стороне от всей этой суматохи, молчали и завидовали. Для них в соседних ларьках выставлялись убогие подобиya жертвоприношений: фигурки животных из воска или теста, глиняные или бронзовые таблички, цветы и кадила. Но и здесь позаботились о богатых. На отдельных прилавках виднелись сосуды с водой, взятой из чудодейственных источников, пучки травы, собранной на могилах полубогов и героев или выросшей в каких-нибудь святых местах, громовые стрелы, осколки метеоритов. Амулеты из золота, серебра, бронзы, обожженной глины и камня изображали всевозможные символы божеств или отвратительные фигуры восточных демонов, а иногда это были магические слова, начертанные неведомыми письменами. Фракийский крестьянин, огромный усач в штанах, заворачивал в листья маленькие брусочки коровьего масла, желтого и прогорклого, которое покупалось как лекарственная мазь.

В разных местах торговища сидели менялы. Их руки в своем неумолимом движении, казалось, пряли нить серебряного звона, которая незримой сетью опутывала весь лагерь. Перед ними стояли столбики монет, разложенных по форме и достоинству, лежали россыпями тоненькие бляшки, изображавшие полушку или четвертушку оболы, беспорядочно громоздились

стертые, покрытые окисью, черные от кислот и влаги монеты. Поминутно кто-нибудь обменивал монеты своей страны на те, что требовал от него чужеземный торговец, или же разменивал крупные на мелочь. Приносили старые монеты с чеканом на одной стороне и пустой оборотной или же новые, у которых на аверсе была фигура божества, а на реверсе — священный символ. По черепахе — животному Афродиты Небесной узнавались монеты Эгины, на кротонских был аполлонов треножник, лидийские имели льва Великой Матери Богов. Пегас окрылял коринфские статеры, на критской дидрахме корчился безобразный Минотавр, ехала на быке Европа и Геракл отдыхал в саду Гесперид. На иных не было ни богов, ни священных символов, а богатство родного края изображалось сочным стеблем киренского сильфия, на монетах же Метапонта зрел налитой пшеничный колос с прицепившимся к его остьям полевым кузнечиком.

Одни лишь менялы знали денежные соответствия всех греческих городов, колоний и всех варварских государств и улаживали разногласия кружков, пластинок и обломков серебра и бронзы. Только у них могли ожидать спартанцы снисхождения к своей железной валюте и с горечью принимали от них несколько серебряных бляшек взамен увесистых мешочков, с тяжелым, грубым звяком брошенных на прилавок. Зато монета из Коса, из Аспенда — с изображением дискоболов шла сверх стоимости, поскольку многие покупали ее как талисман для атлетов. Вокруг неполновесных монет вспыхивали споры, их клали на чашки весов, испытывали металл на пробирном камне, хотя глаз менялы еще издали отличал «белое золото» (так называемый электрон) от настоящего серебра и подмечал, где по окружности монеты прошлись ножницы, снявшие с нее стружку толщиной в волос. Редко в подобных спорах прибегали к авторитету агораномов. Обычно их разрешали сами менялы своим скупым, сакраментальным жестом, и отодвинутая на край стола монета казалась выкинутой за пределы мира. И было ясно, что на всех других столах ее ожидает подобная участь; и многие испытывали суеверное подозрение, что их фальшивый грош вписан в восковые и глиняные таблички, на до-

щечки и папирусы, которые, испещренные колонками цифр, лежали под рукой менялы. На самом деле то были записи долгов, поручений и закладов — первые ростки будущей индустрии финансов.

Олимпийское торжище ни с чем нельзя было сравнить. Рынки больших городов — Византия, Милета, Сиракуз — казались рядом с ним мелочными и вялыми. Им не хватало этого размаха, каждый из них был ограничен кордонами, таможнями, договорами, беспокойством и жадностью, неудобством географического положения. Здесь же вырос целый город, как бы освобожденный от всякой земной ущербности, где не было иных дней, кроме праздничных, — город, возникший на пороге идеала, как бы на побережье Утопии, настолько цельный в мимолетности и прелести своего существования, что не успеешь его узнать, как он уже окажется воспоминанием. В него вступали легко, на другой день уже двигались в нем с уверенностью и небрежностью завсегдатаев, и к лихорадочному возбуждению вновь прибывших относились с улыбкой, как относятся к провинциальным манерам, и день наполнялся множеством мелочей, которые его незаметно поглощали.

Цирюльни открывались с рассветом, как на рынках большого города. В каждой имелось два-три кресла, никогда не пустовавших. Длинные волосы заплетались в косицы, которые либо свободно падали на плечи, либо узлом укладывались на голове и прикалывались шпилькой или перевязывались лентой; прижигали завитки надо лбом и на висках, укладывая их венчиком или розеткой. Одни оставляли усы, другие позволяли сбрить их острой, кривой, как серп, бритвой, которая больно драла кожу, чуть умащенную маслом. Бороды стригли клином, некоторые велели их завивать длинными волнистыми струями. Но молодые мужчины избавлялись от громоздких причесок и стриглись коротко, как кулачные бойцы или борцы, а многие подставляли под бритву свой первый пушок на щеках. Пожилые смотрели на них без огорчения: не хотелось противиться новому времени, которое являло миру ясное лицо эфеба.

Вокруг цирюльнической суеты роились завсегдатаи и сплетники. Сюда сносили все сведения и слухи, здесь обсуждали новости со всех концов света, самые

что ни на есть свежие и в то же время запоздалые, как свет погасшей звезды. Сплетня обретала здесь международный лоск, и был особый смак в том, что судачили о секретах Африки, Азии и Европы, как о секретах соседей за стеной. Горцы из Аркадии или Эпира, вечно торчавшие у всех за спинами, будто чувствовали, что не время и не место встречать со своими баснями о кобыле, которая родила зайца, или о двухголовом теленке. Иногда являлись нищие, Зевсова челядь, вездесущие и неприкаянные бродяги, и жалобой или стоном оставляли здесь какую-то частичку и своей жизни, на которой были след крови и пыль бесконечных дорог. Моряки со светлыми глазами, словно промытыми неоглядными просторами, объявлялись внезапно из своего молчания рассказом о кипящем море, о Золотых горах, Огненных островах и стране Блаженных, лежащей на огромном континенте за океаном, и все затаив дыхание заворуженно следили за их губами, мысленно уносясь за пределы своей родной земли.





ЗЕВКОВА РОЩА

В десятый день месяца парфения атлеты выступили из Элиды. Их было около трехсот. С последнего полнолуния многое переменилось, пришли новые люди; среди младших был Драконт из Аргоса, победитель предыдущей олимпиады; Феогнет, который шагал за ним, старался ступать как можно осторожней, чтобы его не толкнуть. В долгий пеший переход все выбрались в одних хитонах или в хламидах, наброшенных на голое тело. Многие настолько отвыкли от всякой одежды, что даже этот легкий наряд стеснял их и отягощал. Свой багаж они сложили на ехавшие следом телеги.

За ними вели несколько лошадей, которые явились в последнюю минуту с опоздавшим обозом. На их головах были полотняные капюшоны от солнца, а на копытах — грубые кожаные торбы, на манер башмаков. Животные, которым надоел медленный шаг, нетерпеливо натягивали узду. В конце концов, их пустили вперед, и конюхи уселись верхом.

За последними рядами атлетов тянулись повозки вельмож. Под пурпурными балдахинами сидели: Гие-рон из Сиракуз в обществе своего шурина Хромия, возвращавшегося из Немей со свежей победой; Ферон из Акраганта с сыном Фрасидеем, властителем Гимеры; Аркесилай из Кирены — все, кто посылал лошадей на каждую олимпиаду. К их великолепию присоединились различные потомки родов, ведущих свое начало от тех или иных божеств из Арголиды, Беотии, Аттики, Эвбеи, — вся аристократия, издревле приверженная традициям коневодства.

Отдельно ехал Александр, сын Аминанты, македонский царь, самолично правя персидской колесницей, которая вся была обита золотой бляхой и сверкала изображениями солнца, луны и звезд. Двадцать лет назад он сам участвовал в беге на один стадий. Вначале его не допускали к соревнованиям, не признавая чистокровным греком. Но он сослался на происхождение от аргосских царей и придумал фантастическую родословную в надежде, что благодаря победе навечно впишет свое имя в золотую книгу общеэллинской аристократии. Венок ему не достался, но зато он снискал уважение и приязнь своей позицией в персидской войне, все помнили его советы под Платеями, и сейчас каждый приветствовал его еще издалека.

Затем следовали повозки элланодиков, членов Совета, жрецов. За ними вели жертвенных животных — десятки волов, коров и овец, гекатомбу элейцев, и среди их безукоризненной белизны выделялся большой черный баран, предназначенный на могилу Пелопса. Особая телега везла железную клетку, в которой сидел дикий кабан, отловленный в лесах Аркадии; над его кровью должны будут присягнуть атлеты. В хвосте шествия двигались запоздавшие пилигримы и процессии из самой Элиды.

Животные и повозки были увиты зеленью, у каждого был венок на голове или цветок в волосах. В общем шуме внезапно выделялся звучный голос одного из жрецов; люди, затихая на минуту, старались разобрать слова, и уже со следующей строфой гимн подхватывали все.

«Священная дорога» шла вдоль моря, которое на первых десятках стадиев было заслонено холмами.

Но вот они раздались, открывая на западе песчаный берег. Две малые речушки перерезали тракт; не находя мостов, он нырял вниз, к их пересохшим руслам. Повозки с грохотом катились по камням. Единственный мост висел над рекой, которая меж высоких берегов сохранила лишь полоску воды. Это был Иардан, заключающий в своем названии память о финикийцах, покрытый славой благодаря нескольким строкам у Гомера, описывающим сражение Нестора с аркадами.

Солнце клонилось к морю, когда шествие остановилось у истоков Пиера.

Из густых зарослей сочился узкий ручеек, который стадием дальше исчезал в песках. Этим волоконцем держалась в людской памяти древняя граница между Элидой и Писой; по ту сторону ее лежала священная земля Олимпии. Все сошли с повозок; один из жрецов взял из рук слуги месячного поросенка, который пронзительно визжал. Схватив его за уши, жрец сильным ударом ножа перерезал ему горло. Кровь обрызгала ему хитон, остальная пролилась в источник, краснея на темной воде, как отсвет заходящего солнца. Все по очереди погружали руки в ручей и окропляли одежды, исполняя обряд очищения.

Переночевали в близлежащей Лепрее. Городок, существующий за счет пилигримов, был сплошным постоялым двором, где каждый нашел ночлег и кувшин отличного вина.

На рассвете двинулись дальше; около полудня среди холмов показался Диспонтий, глядящий на широкий поток Алфея. Сюда еще добирались корабли, поднимавшиеся вверх по течению; дороги с юга, из Трифиллии и Мессении, кончились у брода; люди криками подзывали паром. Но процессия миновала всю эту суету, держась правого берега. Затем ее скрыли холмы, и внезапно она появилась на глазах у народа, расположившегося лагерем в олимпийской деревне.

Ее приветствовал могучий вопль; элланодики выехали в голову шествия, чтобы своим пурпуром прокладывать в тесноте дорогу. Атлетов пустили в середину колонны, чтобы защитить от назойливости густевшей толпы. Однако многих узнавали, и земляки выкрикивали их имена. Лошади шарахались, вставляли

на дыбы, сановники сошли с повозок, доброхоты помогли прислуге отвести животных к конюшням. Толпа афинян подхватила на плечи Александра и отнесла его в лагерь.

Тем временем атлетов направили в Альтис и заперли за ними ворота. Оставшийся с ними Гисмон объяснял, где находятся ночлежные бараки. Никто его не слушал, точно торжественный шум Священной роши делал их глухими к человеческой речи. Социон, стоявший в первых рядах, с недоумением обводил взглядом деревья. Тропинка, выбегая у него из-под ног, терялась через пару шагов, как в лесу. Гисмон сообразил, наконец, в чем дело.

— Стадион, — сказал он, — находится по ту сторону. Драконт вас проводит.

Все двинулись длинной цепочкой.

Белые тополя возносили на высоких стволах свои широкие кроны, а под серебристым трепетом их листья стояли оливы в мудром своем молчании. В зарослях раздавались птичьи голоса. Кое-где выглядывал свежепобеленный алтарь. Внезапно деревья расступились: посреди небольшой поляны возвышался невысокий холм с несколькими соснами на вершине. Его окружала пятиугольная каменная ограда. Это был курган Пелопса.

Глядя на этот зеленый бугор, оглаженный дождями и бурями долгих веков, они вдруг окунулись в суровую атмосферу мифа.

Им казалось, что они видят царя Эномая с черной бородой, с темным взглядом из-под нависших бровей; опираясь на копьё, он всматривается в облако пыли на дороге. Рядом стоит Гипподамия, его прекрасная дочь, светлые волосы падают ей на плечи, руку она прижимает к сердцу и дрожит, слыша приближающийся стук копыт. Снова какой-то князь едет просить ее руки. Вот он подъехал, здоровается с царем. Черные, как воронье крыло, кудри вьются вокруг его смуглого лица. Пелопс. Его принесло море из далекой Лидии. Царь Эномай говорит: «Если победишь меня в заездах колесниц, отдам тебе дочь. Иначе заколю тебя вот этим копьём. До тебя было тринадцать, и все лежат в земле». Запрягают лошадей, садятся, летят. Ветер свистит в ушах. В жаркой светлой убегающей дали слышится крик. Гипподамия за-

крывает глаза. Чьи-то руки касаются ее волос, смуглое лицо лидийца рядом с ее лицом. Слуги выносят тело царя из разбитой колесницы.

— Опасные были в то время заезды, — отозвался Фелесикрат. — Ехали через поля, через рвы. Разве не было гипподрома?

— Какой там гипподром! — сказал Иккос. — Первые игры устроил, кажется, именно Пелопс на похоронах Эномая.

— А я слышал от элейцев, — сказал Эфармост, — что тут еще Зевс бился с Кроносом за власть над миром. Они схватились, как обыкновенные борцы. Зевс уложил отца броском, а потом устроил игры, на которых Аполлон превзошел Гермеса в беге.

— Трудно что-нибудь об этом сказать, — прервал его Содам. — Тогда, может, и людей еще не было. Одно лишь верно: олимпийские игры установил Геракл.

— Который? — спросил Драконт.

— А какой может быть еще другой?

— Местные утверждают, что Идайский. Тот, что пришел с Крита со своими братьями Куретами.

— Какая-то чушь. Был один-единственный Геракл, сын Алкмены. Он отмерил стадион и устроил игры. Он принес тополь и оливу из страны вечной весны, от гиперборейцев, живущих над Истром.

— Над Истром? — удивился Филон из Тираса. — Это недалеко от нас, там оливы не растут.

— Геракл взял саженец нашей афинской оливы и посадил здесь, — сказал Каллий.

Герен, отойдя чуть в сторону, разглядывал какой-то одиноко торчащий столб.

— Что это такое?

— Здесь был дом Эномая, — ответил Драконт, — Зевс сжег его молнией.

Вся компания обступила растрескавшийся и обожженный столб. Рядом была загородка из камней, какие всегда ставят там, где ударит молния. Все всматривались в этот клочок земли, на котором даже трава не росла, будто здесь вечно пылал страшный божий огонь. Их глаза останавливались на камнях загородки, блуждали по двум стоящим неподалеку алтарям, возвращались к почернелому столбу — и никто не двинулся, околдованный тайной этого места.

А в глубине земли, куда не мог достигнуть их взор, лежали останки древних жилищ, слепленных из неотесанных речных валунов, заваленные множеством каменных орудий и грубых кувшинов, — следы погибших поколений, от которых сохранились лишь кости ребенка, спрятанные в большом глиняном сосуде. Под слоями песка, земли и пепла тлея, как фосфорическое свечение гнилушки, память о временах, когда Олимпия еще не имела своего названия и когда Зевс еще не завоевал ее для себя ударом молнии. Именно там, в этих исчезнувших безвестных жилищах, находились корни веры, которая на поверхности рощи проросла алтарями. От вымерших поколений остались духи, демоны, тени, безымянные фигуры полубогов, отдельные слова — множество всего такого, что обладает безграничной живучестью и силой воздействия, даже если оно никогда и не существовало.

Каллий, потомок элевсинских жрецов, который и сам когда-нибудь понесет факел, как бы наследным инстинктом почуяв необычность этого места, сжал три пальца правой руки бессознательным движением человека, бросающего благовония на огонь алтаря. Но другие уже двинулись дальше, заметив статуи, которые виднелись из-за деревьев. Социону не терпелось:

— На это всегда найдется время, — и он потянул за собой Драконта.

— Это уже здесь? — спросил он, когда перед ними открылось ровное, широкое пространство.

Мальчик кивнул.

Выйдя из рощи, они увидели перед собой светлое поле, ограниченное подножиями холмов и берегом реки.

— Вон справа, — сказал Драконт, — видите гипподром? Он тянется вдоль Алфея до самого писанского взгорья. А тут, где мы с вами стоим, и начинается стадион, сразу от большого алтаря.

Большой алтарь Зевса находился слева и немного сзади, и когда они оглянулись на него, то увидели за ним храм, а ближе — террасу, уходящую ступенями вверх, и на ней целый ряд малых святилищ, а еще выше полого поднимался поросший соснами холм Кроноса.

Гипподром был четко отделен зеленой полосой —

по-видимому, насыпью, поросшей кустарником. Сам же стадион не имел четкой формы. Широкий в основании, которое образовывали деревья Священной рощи, он сужался к востоку — неловко выкроенный кусок холста. Пока неясно было, где именно размещают прямоугольник беговой полосы.

Ее не посыпали еще свежим песком и даже не разровняли; повсюду виднелись ямы и вымоины от зимних дождей и потоков, которые стекали сюда с холма Кроноса. Атлеты испытали разочарование, стоя на краю этого изрытого и бугристого поля.

Над их головами, со свистом рассекая воздух, проносились ласточки. Их молниеносный полет вызывал упоение. Все следили за ними и про себя отсчитывали неуловимые мгновения полета от старта до меты. В конце концов, у них затекли шеи.

Все повернули обратно к Альтису, но уже по другой дороге, и в каком-то месте Драконт прошептал: — Каллистефанос.

Но здесь росло много олив, и никто не понял, которая из них та, что зовется «дарящей прекрасные венки». Мальчик показал на ту, что стояла отдельно, — старую, корявую, полуиссохшую. Из морщинистого ствола вырастали две ветви, узловатые, как напряженные мускулы, и, словно раскинутые руки, протягивали солнцу жертвоприношение своей серой зеленью.

Стало быть, это и есть Каллистефанос. Этим именем матери баюкали сыновей. Столькими легендами обросла она, что если бы верхушкой касалась неба и была вся из чистого золота, то и тогда не выглядела бы столь удивительной, как сейчас, во всем своем убожестве. Покрытая мхом, кишашая муравьями, с осыпающейся трухой из дупел, она трогала своей ветхостью и была как само седое время. Местами виднелась паутина, совсем как встарь, когда дельфийский оракул ответил царю Ифиту: «Победителей наградишь венком из веток оливы, которую найдешь в Священной роще под пряжей паука».

Легкий ветерок покачивал скудную крону дерева, каждая веточка была отчетливо видна, каждая качалась, не шевеля мелкой листвой, которую можно было пересчитать по листочку: их наверняка не хватило бы и для половины тех, кто сейчас вождельно на

них смотрел. Рядом стоял алтарь нимф — охранительниц святого дерева. Через несколько шагов Драконт вывел их на дорогу, которая привела к входным воротам. Им отворили, и они увидели бараки, а рядом разворачивал авсиды своих двух крыльев Булевтерий, здание Совета. Вокруг него теснилась шумная толпа.

— Что там происходит? — спросил Социон.

— Не знаю, — ответил Драконт. — Какие-то дела. Там сидит эпимелет, управляющий олимпийской казной.

Но дело было не в олимпийской казне. Толпу собрало появление двух людей, которые, не здороваясь ни с кем, скрылись в Булевтерии. Пожилого никто не знал, зато имя молодого было у всех на устах: Феаген из Тасоса.

В последней олимпиаде он записался на панкратий и кулачный бой. Атлетов из-за войны собралось немного, но в кулачном поединке Феагену достался сильный противник — Эвтим из Локр. Кончилось тем, что он ударил Эвтима по разжатым пальцам левой руки, выбил их из суставов и победил. Однако сам так измотался, что не мог выступить в панкратии, где у него был один-единственный противник: аркадец Дромей из Мантинеи. Дромей получил венок, как говорится, «не запыхавшись». Феагена посчитали виновным в этом возмутительном казусе. К чему записываться на два вида состязаний, если не умеешь рассчитать своих сил! Он согрешил хвастливым тщеславием, оскорбил Зевса, и ему присудили штраф: он обязан был заплатить один талант серебром в олимпийскую казну и еще один талант — Эвтиму. Тайных причин приговора не знал никто: похоже, что элладники хотели таким способом почтить Эвтима, который уже прежде был олимпиоником.

И вот Феаген стоял перед эпимелетом и платил штраф. Принесли весы. Бронзовая чашка звенела под серебром в разной монете и отдельных нечekanенных слитках. Опробирование металла затянуло процедуру. Несколько монет отвергли как неполноценные. Спутник Феагена, крепкий человек, похожий на финикийца, поторговавшись немного, выложил взамен другие. Это был уполномоченный тасосского правительства, которое платило штраф за своего олим-

пионика. Подсчитав все, спросили о деньгах для Эв-
тима.

— Это я с ним самим улажу, — сказал Феаген и
вышел.

Непонятым образом все происходившее в Булев-
терии тут же сделалось известным толпе, а через
нее — и атлетам, которые стояли у своих барак.

— Я уверен, что он не заплатит ему ни обولا, —
сказал Иккос.

— Как это так?

— Он может ему предложить кое-что равноцен-
ное таланту серебром.

Драконт, который не знал Иккоса, решился спро-
сить:

— Что ты имеешь в виду?

— А что бы ты сказал, если бы Феаген пообещал
не состязаться с тобой? Можете назвать меня тычкой
для фасоли, если Феаген запишется на кулачный бой.

Но это слишком близко касалось Меналка:

— Ты думаешь, что Эвтим?..

— Да, мой славный, ты будешь иметь дело с ним.

Толпа отхлынула от Булевтерия; холмы сгущали
ночь над долиной. Атлеты вошли в бараки.

Длинный дощатый сарай, два ряда нар, разделен-
ных узким проходом, вместо четвертой, торцовой,
стены — кусок холста, заменяющий дверь. Пахло све-
жим деревом. Сквозь щелистую крышу просачива-
лись звезды. Лагерь под Олимпией ровно гудел, ино-
гда над общим гудением взлетал чей-то крик, чей-то
смех, обрывок песни. Атлеты вслушивались в эти зву-
ки, отыскивая в них тайный знак или примету, а те
постепенно затихали, погружаясь в ночную тишину,
сотканную из плеска реки, кваканья лягушек и тре-
ска цикад. Тела, опьянев от ночной свежести, тонули
в омуте сна без сновидений.

Назавтра, двенадцатого, был свободный день. Эл-
ланодики отправились на заседание Совета, а у атле-
тов не было решительно никаких забот. Прежде чем
они сообразили, что им делать со своей свободой,
бараки затопила толпа, которая с самого рассвета
воевала у Булевтерия с надзирающими. Возник гал-
деж, сумятица, все толкались и теснились, чужие
люди вскакивали на постели, выкрикивали имена, ко-
торые затем повторялись с искажениями, было много

смеха, кто-то неожиданно зарыдал. Пришел конец долгим разлукам, беспокойствам и безвестию. Бури, корсары, непредвиденные случаи могли навсегда разлучить эти руки, которые сейчас обнимали отца, брата или друга. Какой-то старец продирался сквозь толпу и взывал все громче: «Менасий! Менасий!» Пока нужно было перекрикивать весь этот шум, ему хватало сил в легких, но когда вдруг воцарилась полная тишина, у него все закружилось перед глазами; раскрытым, онемелым ртом он судорожно глотнул воздух и упал без чувств. Его привели в себя, и все вышли в лагерь. Остался один Эргофил. Старая родина не вспомнила о нем, а в новой он пустил еще слишком слабые корни. Дом, жена, сын в колыбели, поле, дававшее тысячу медимнов пшеницы, карфагенские пленные при жерновах — вот все, что у него есть на свете, под небом, которого не видел ни один из его предков, в далекой земле, в которой никто из них не покоится. Слишком мало значит человек, если не имеет рядом никого, кроме собственной тени. Три слога, составлявшие его имя, достаточно обычны, но никто их сегодня не произнес, пусть даже по ошибке.

Внезапно его окликнули. Рядом стоял Социон.

— Я был в лагере, — сказал он. — Повидался с отцом, потом с одним дядей, потом с другим, с третьим, а потом было еще шестеро дядьев и несметное количество более далекой родни. Пришлось обниматься со всем Тарентом. В каждой палатке съел по два пирожных. Вино я выливал в жертву богам, и сейчас у Алфея есть новый приток. Клянусь Зевсом! Тысяча триста и двадцать шесть дружеских тумачков в один только живот, не считая ляжек и спины. Я сбежал. Ты не можешь представить, что там творится! Содам с ходу поругался с братом из-за каких-то там табуретов, которые тот не привез. Иккос, похоже, отыскал своих опекунов — я видел, как он сплюнул в сторону каких-то двух старикашек. Фелесикрат тащил меня к своему отцу, но я вырвался. Я только издали видел его шатер. Туда можно заехать четверкой лошадей, можешь мне поверить!

Эргофил тянулся к бурному потоку его слов, как к горному ручью. Свежесть леса была в его дыхании. В смеющихся глазах мерцали зеленые пятнышки света, просеянного сквозь крону ясеня. Хламида белым

облаком окутывала его солнечное тело. Подвижный, как ветер, он поминутно сминал ее, взметал движениями рук, легкая материя надувалась колоколом, и смуглая нагота переливалась блеском бронзы.

— А где Герен?

— С утра ходит по Олимпии, будто ищет что-то потерянное в прошлой жизни.

— Может, и мы пойдем? Я повстречал человека, который обещал мне показать храм.

— Какой?

— Геры. Другого здесь нет.

Это уже произнес человек, о котором говорил Социон. Непонятно, откуда он взялся, казалось, вырос из-под земли, внезапно и тихо, как гриб. Это был клейдух, привратник храма, о его должности свидетельствовал большой железный ключ, висевший на ремне, перекинутом через плечо. Он повел их той же дорогой, которой они вчера шли с Драконтом. Деревья были увешаны приношениями, чего они прежде не заметили.

Повсюду висели маленькие, вроде детских игрушек, повозки, колесики, двусторонние топоры, мечи, шлемы, щиты, наконечники копий, треножники, цимбалки, диадемы, пряжки, наплечники, серьги, перстни, гребешки; попадался часто маленький человечек из бронзы, прицепленный к ветке за крючок, торчавший у него из головы; он служил напоминанием о каком-нибудь победителе того времени, когда еще не ставили статуй; топорные фигурки лошадей с тонкими ножками и чересчур большими головами напоминали о давно минувших бегах; лепленные из глины женщины танцевали, взявшись за руки и образуя круг; кое-где еще более древняя и бесформенная человеческая фигурка качалась, похожая на колокольчик, или же существо со сдвинутыми ногами и сложенными на острых, как шпильки, грудях руками, с безгубым и безглазым лицом, но зато с далеко выступающим носом изображало вечную богиню любви и красоты. Во все это, родное и привычное, гиппопотам, сфинкс или ассирийский крылатый демон вторгались внезапно, как крик на чужом языке.

Окись покрывала эти кусочки бронзы, которые своей зеленью сливались с зеленью олив, тополей и платанов и достигали самых высоких веток. Некото-

рые валялись на земле, сброшенные ветром; клейдух поднимал их и подвешивал снова. Их неисчислимое множество выражало безмерность прошлого, и два атлета шли точно сквозь толпу призраков, ощущая за собой легионы умерших, способных подкрепить их дух.

Герайон был рядом. Старинная постройка поддерживалась массивными дубовыми столбами, и в их черной шеренге выделялась, как сноп света, одна каменная колонна, установленная вместо подгнившего столба. Со стороны холма, как сообщил клейдух, имелось уже десять таких колонн.

— С северной стороны им сильнее вредят дожди.

Над столбами шло деревянное перекрытие, поддерживающее крутую крышу с карнизом из обожженной глины, расписанной красными, голубыми и светло-желтыми полосами, ветками и цветами. Водостоки заканчивались головами львов с раскрытой пастью. По нескольким ступеням они взошли в притвор, и клейдух погрузил в замок свой железный ключ. Высокие, окованные бронзой двери открылись внутрь, и сквозь них вторглась яркая полоска света. Она задержалась в нескольких шагах от порога, будто испуганная сумраком просторного помещения, разделенного двумя рядами колонн на три нефа. Над ними толстые балки, скрещиваясь, образовывали потолок. Стены на каменном фундаменте были из кирпича, кое-где проглядывала серо-желтыми пятнами кладка из-под обвалившейся штукатурки.

— Под полом есть земля, взятая с вершины Крониона, — сказал клейдух.

Одновременно он сделал жест, приглашающий вглубь, за границу светлого пятна.

В глубине храма, у самой стены, на пьедестале шириной в центральный неф, высилась статуя Зевса. Бог со шлемом на голове стоял, опираясь на скипетр. Это был Зевс Арей, суровый бог древности, бог первых веков Олимпии. Рядом на троне сидела его сестра-жена. Каменная богиня имела на голове нечто вроде диадемы из листьев, а покрытые сеткой волосы образовывали надо лбом ряд плоских завитков. Из-под высоких бровей смотрели широко расставленные глаза из белой и голубой эмали. Тонкие прямые губы заканчивались двумя ямочками на ще-

ках, и в них рождалась улыбка, которая придавала округлому овалу лица выражение мягкой доброжелательности. От золоченой диадемы, от красной сетки и красных же, но несколько более светлых волос, казалось, исходило сияние.

Всю ее фигуру покрывал пеплос, тяжелые расшитые складки которого ниспадали до самых стоп статуи.

— Может, вы видели на рынке в Элиде, — снова заговорил клейдух, — дом, где живут шестнадцать женщин. Это жрицы. Они там ткут и вышивают пеплос для богини и приносят его раз в четыре года, в праздник Герайев. Старое же убранство передается в сокровищницу. А вот диск Ифита.

Невозможно было сообщить более важную вещь тоном более безразличным. Оба атлета склонились над бронзовым кругом, лежавшим на треножнике. Слова драгоценной надписи возникали из металла, как слабый человеческий голос из черноты грозовой ночи, и своими едва проступавшими очертаниями различались наподобие шепота. Буквы цеплялись одна за другую, завивались спиралью, и то, что выглядело началом одной фразы, оказывалось концом другой, в свою очередь не имевшей начала. От напряжения на глазах выступали слезы, которые мешали смотреть. Эргофил рукой коснулся диска. Когда он отнял руку, Социон взялся за диск так, будто хотел его поднять. Но он только положил руку, накрыв ею письмена, точно жрец, принимающий присягу соглашения.

— Пойдемте, — безразлично сказал клейдух, — я покажу вам сундук Кипсела.

— Да запишись ты в нем! — крикнул Социон.

Вся Олимпия шумела разноголосицей. Слышался стук ведер у колодца, где-то открыли резервуары, и вода с шумом ринулась в канавы, разносившие ее по всему Альтису. В углу, между стеной и пританеем, ксилевс, дровосек священной округи, рубил ствол белого тополя на равные поленья, согласно традиционной мерке. Скрипели телеги, везущие песок на стадион. Десятка полтора человек разравнивали сморщенную землю. Ими руководил Гисмон. Сейчас он обходил засыпанную часть и через каждые пару шагов втыкал в землю палец, измеряя толщину слоя песка.

— Старик чувствует в пальцах наши босые ноги, — шепнул Социон.

Со всех сторон подходили люди — атлеты со своими родственниками. Гисмон их отогнал, чтобы не мешали работать. Он отсылал их к камню Бибону, к статуям.

Камень Бибон лежал тут же у Герайона. Это был округлый отлом черного песчаника, на котором была вырезана надпись: «Бибон, подняв меня одной рукой, перебросил через голову».

В камне было два углубления, как бы для захвата. Кое-кому удавалось поднять его до коленей или чуть выше, но не было речи о том, чтобы его свободно бросить. Откуда-то появившийся Иккос пригляделся к забаве и крикнул:

— Поищите Герена!

Навкратиец вскоре отыскался и молча подступил к камню. Он не мог втиснуть в отверстие всей ладони, едва влезли три пальца. Он резко поднял камень на высоту груди, перехватил его и в тот момент, когда казалось, что он его уронит, могучим толчком швырнул его на несколько шагов.

Иккос обратился к Эвримену:

— Ты смотри, чтобы он тебе в схватке костей не переломал.

— Бросьте вы это, — подбежал к ним Алкимид, — я вам покажу кое-что поинтереснее.

И они подались за ним бесцельные в этот беззаботный день, как листья, влекомые ветром.

— Вот мой прадед, — сказал эгинец.

Это был Праксидам, победитель в пятьдесят девятой Олимпиаде. Вырезанный из кипарисового дерева, весь в темных полосах, шершавый от дождей, ветров и солнца, он застыл в своей неподвижности, опустив прижатые к бедрам кулаки, на которых сусальной позолотой были обозначены ремни кулачного бойца. Лоб его пересекала трещина, словно морщина, оставленная тремя четвертями века. Алкимеду хотелось в нем видеть сходство с собой. Но никакого сходства не было. У деревянного Праксидама была круглая голова, широкое лицо, растянутое в равнодушную улыбку; глядел он выпуклыми глазами из голубого стекла, которое давало тусклый, мертвый отблеск. Он был похож разве что на Рексбия из Опун-

та, которого он никогда при жизни не видел и который стоял теперь рядом с ним на соседнем пьедестале, вырезанный из фигового ствола, — победитель, мо-
ложе его на две олимпиады.

Двигаясь опушкой Священной рощи со стороны дома Эномая, атлеты встречали ряды статуй; на пьедесталах начертаны были имена, еще живущие в их памяти. Они повторялись громко, как литания: Фрикий из Пелинны! Эвтелид Спартанский! Фанес из Пеллены! Дамарет из Герайи! Милон Кротонский! Все статуи смотрели одинаковыми выпуклыми глазами, улыбались одинаковыми мясистыми губами, вырезанными из красной меди, одинаково вились надолбом волосы и жестко опадали сзади на плечи, как у египетских божеств. По шлемам распознавали гоплитодромы, диск был эмблемой пентатлона, иногда борец или кулачный боец делали осторожный, несмелый жест — глухой отзвук силы, которая принесла им победу.

Преобладали неподвижные и прямые фигуры со слишком длинными туловищами и узкогрудые, будто люди вымершей расы, которую уводил во мрак времен старый Гермес, запахнутый в хитон, в шлеме и с овном под мышкой. Зато Зевс Метапонтийский широким шагом двигался в новое время. В вытянутой правой руке он держал перун, на левой его ладони сидел орел с полураскрытыми крыльями, будто резкое движение бога бросало его в полет. За Зевсом шли статуи, чьи формы все заметнее округлялись, утрачивали мертвую неподвижность, то и дело кто-нибудь с восторгом обнаруживал великолепные мышцы живота, мощное колено, смелый изгиб бедра. С двух пьедесталов рвались кони, поблескивая свежей бронзой, с голубыми гривами, стоявшими щеткой, как гребень шлема. Огромный Геракл с луком и палицей мчался в какую-то битву на колеснице финикийского Мелькарта.

Высокоствольная роща человеческих и божеских фигур имела свой подлесок: множество каменных плит, которые были втиснуты в каждое свободное местечко. На них были вырезаны надписи, касающиеся олимпийских законов и привилегий, благодарственные молитвы, славословия. Города и племена провозглашали договоры и союзы, могучий Селинунт брал

под свое покровительство изгнанников из Мегар, на потемневшем от старости камне два государства заключали столетний мир. Все это замыкала, точно последнее слово гимна, огромная мраморная стела с перечнем народов, сражавшихся под Платеями.

И вот они уже стоят у края дороги для процессий, за которой высилась стена, ограждавшая Альтис. Все чувствуют какую-то неудовлетворенность. Один храм, несколько святыnek, немного статуй, десяток-другой алтарей из грубого камня, скрытого под свежей побелкой, — вот, собственно, и все, что можно унести с собой, точно легкий узелок с нехитрым скарбом. Совершенство их тел чувствует недостаточность этого искусства, которое еще не умеет быть с ними на равных.

А в двух шагах от их разочарования в глубине рощи Либон-строитель из Элиды разговаривал с секретарем Олимпийского Совета:

— ...вырубить эти деревья. Шесть платанов, восемь тополей, тринадцать олив. Каллистефанос очутится рядом с опистодромом. Храм будет в двести стоп длинной, не считая входной террасы, которая, по сути, выйдет за пределы рощи. Я покажу тебе чертежи.

Над скромной старой Олимпией создавалась новая, пока еще в воображении. Близились новые времена, души приободрялись, будто на них повеяло свежим ветром. Ширилась какая-то благодать, как огромное счастье от сознания восстановленного порядка, победоносной войны, избытка сил; инстинктивно озирались в поисках новых форм бытия. Их повсюду было много, и временами ощутимо казалось, что вокруг так и роятся эти формы, как будто действительность была во власти еще не рожденного мира. Люди, которым суждено было создать этот мир, пока таились в людской гуще; Периклу исполнилось двадцать лет, Фидий, Мирон и Поликлет, никому не известные, бродили по Олимпии. В недрах гор тужился мрамор, который завтра освободится от своего каменного сна, в каменоломнях Пантеликона уже существовали все атомы Парфенона, в белоснежном лоне острова Парос вызревала новая красота.





ВЕТКА ДИКОЙ ОЛИВЫ

На следующее утро совершали жертвоприношение Гестии.

В пританее, который в каждом греческом поселении является, по сути, главным домом, горит «акама-тон пир» — «неутомимый», негасимый огонь. Трепетный и чистый, он символизирует девственную богиню, которая, как вечная звезда, сияет среди богов на Олимпе. Зачатый от свистящего трения двух кусков дерева в незапамятные времена, он не может быть возобновлен иначе, как тем же самым первобытным способом. Поленья белого тополя, пылая днем и ночью, образовали горку пепла, которую единственный раз в году, в месяце элафии, выгребают и относят на алтарь Зевса. Кострище обложено тяжелыми камнями, чтобы его не разметал ветер, ворвавшись через раскрытый потолок. Четырехугольный зал, в котором находится алтарь, тесен и высок и черен от сажи и дыма, как печной дымоход. Жрец ворошит полуобугленные головни, под которыми всю ночь тлели угли.

Всегда на миг становится тревожно: разгорятся ли снова маленькие красные точки, уцелевшие в золе? Подбрасывают сухую оливковую листву, которая начинает коробиться, сворачиваться; прорицатель напряженно вслушивается в неуловимый шепот ее умирания. Новая охапка листьев кропится маслом, шипит, в воздух поднимается струйка едкого чада, жрец наклоняется и оживляет замирающий огонь собственным дыханием. Перед его напряженными губами уже колеблется гребешок пламени. Тогда он раскидывает руки и на оставшемся дыхании затягивает гимн. Он поет неторопливо и внятно, чтобы не потревожить древнего звучания слов, он взывает ко всем богам, эллинским и чужим, к полубогам и их женам, к героям странствий, войн и походов.

Тем временем в другом конце Альтиса, в южном крыле Булевтерия, атлеты стоят перед элланодиками. Они разделены рядом колонн, перерезающих зал. Капр возглавляет судейскую коллегию. В руке он держит левкому — белую таблицу, по которой читает имена атлетов и вид соревнований. Впервые они слышат его голос, отрывистый и решительный, как голос вождя. Тянутся минуты страшной неуверенности, никто не может унять дрожь при мысли, что по какой-то причине его имя не будет названо. Спокойны только бывшие олимпийники. Они стоят в первом ряду, и их лица бесстрашны. Среди белых хламид выделяются богатые плащи князей.

Имя Астила открывает список, и трехкратный победитель записывается на бег с оружием.

— Эвтим, сын Астикла из Локр Италийских. Кулачный бой, — объявляет Капр.

Феаген, слыша свое имя, торопливо бросает:

— Панкратий!

Иккос подталкивает локтем Каллия, стоящего рядом. Афинянин кивает головой и силится улыбнуться.

Приходит очередь князей, у которых на счету по несколько победных заездов, и наконец, начинает откликаться элидский гимнасий. При имени спартанца Ладаса, который явился позже всех, элланодики совещаются шепотом: ему недостает нескольких дней до обязательного месяца тренировок в Элиде. Капр наклоняется к одному из «стражей закона», и слышно, как тот говорит:

— Тренировки в Элиде — это вовсе не закон, а просто обычай.

— Но обычай, ставший законом, — заявляет Ономаст. — Как иначе отделить зерна от плевел?

— Это видно с одного взгляда, — говорит старичок, указывая на Ладаса.

— За ним уже победы в Немее и в Истмиях, — поддерживает другой.

Капр разрешает затруднение коротким кивком, поднимает голову и смотрит на бегуна. Тот воспринимает это как вопрос.

— Длинный бег, — говорит он.

Но Капр продолжает смотреть, целую минуту он всматривается в него внимательным, озабоченным взглядом. Спартанец бледнеет. И когда атлеты начинают расходиться, он все еще не может успокоиться.

— Что он во мне увидел? — спрашивает он Герена.

Навкратиец останавливается, озадаченный вопросом, и разводит руками.

— Капр, — говорит он, — из рода Клиатидов, ясно-видящих.

Но слова их теряются в общем говоре. Содам шепчет, что кого-то не назвали. Кого — неизвестно, но он чувствует отсутствие какого-то имени, а какого — в данную минуту не может вспомнить.

Сойдя по ступеням Булевтерия, они попадают в толпу, которая расступается перед ними.

Между двумя крыльями здания находится зал, окруженный тремя стенами, открытый на восток и не покрытый кровлей. Пол образует строгий квадрат из сплошного камня, каменные стены, в центре стоит алтарь. Он отликает голубоватой серостью известняка, образованного мириадами моллюсков, чьи раковины еще видны там и сям, не уничтоженные временем. Черные пятна крови, не смытой дождями, не выжженной солнцем, сохранились с последней олимпиады.

Хозяин этого алтаря — Зевс Оркий, покровитель присяги.

Жрец возжег уже огонь с помощью головни, взятой с алтаря Гестии, и теперь подкладывает свежие дрова. Атлеты входят и становятся по обе стороны алтаря, отдельно мужчины, отдельно мальчики. Первые высвобождают из складок хламиды правую руку.

У мальчиков хламида свободно ниспадает, скрывая руки: от их имени будут присягать отцы, а если нет отца, — так дядя, или старший брат, или еще кто-нибудь из родственников. Они все стоят позади группы мальчиков. А у третьей стены ожидают тренеры.

С появлением элланодиков толпа, заполнившая все пространство между Булевтерием и могилой Гипподамии, начинает шуметь. Служители кричат, расчищая проход, размахивают палками, и в конце концов в людской толчее им удастся проложить широкую улицу. В ее конце раздается рычание — храмовая прислуга ведет дикого кабана.

Животное, инстинктивно чуя беду, рванулось за шаг до алтаря. Два человека держали его на цепях, прикрепленных к замысловатой сбруе, опоясывающей передние ноги кабана, шею и часть живота. Кабан рвался, в слепой ярости бил клыками и, наконец, уперся копытами в землю. Но поскольку для него важнее всего было не приближаться к алтарю, он не обратил внимания на то, что цепи подтягивают его кверху. Правда, он утратил опору в передних ногах, которые на минуту повисли в воздухе, но задними держался крепко. Начисто поглощенный этим делом, он не издал даже рыка, когда нож полоснул по его открытому горлу. Он свалился с глухим хрипом, и тут же ноги его окостенели. Сняли сбрую и цепи, вспороли брюхо, и жрец вырезал легкие, сердце и печень. Он отпластал кусок шкуры, завернул в нее истекавшее кровью мясо и положил в огонь, который принял его с треском, шипеньем и чадом паленой щетины.

Элланодики приблизились к алтарю. Капр обратился к атлетам:

— Прежде чем произнести клятву, — сказал он, — пусть каждый из вас посоветуется со своей душой: в самом ли деле он предстал перед богом чистым и уверен ли, что не оскорбит его малейшей ложью? Ни для кого не позорно отойти от алтаря, давая доказательство честности и богобоязненности.

По белым рядам прошла дрожь. Некоторые побледнели, кое-кто из мальчиков, закусив губу, смотрел в сторону, казалось зачарованный темным блеском бронзового колосса Зевса, который возвышался над стеной Альтиса на половину роста, с широко рас-

крытыми глазами, с перуном в руке, приготовленным к броску.

Наступило долгое молчание. Элланодик начал читать имена атлетов. Вызванные выходили из толпы и становились попарно лицом к алтарю. Прочитав весь список, элланодик произнес формулу клятвы, в которой каждый утверждал, что достоин игр, что происходит от родителей-эллинов, свободнорожденных, что не тяготеет над ним невинно пролитая кровь, что не обременяет его никакая недоимка по отношению к богам и храмам, что свои обязанности состязающегося он принимает на себя законно, после десяти месяцев тренировок, что в борьбе с соперником он не станет пользоваться никакими хитростями и не прибегнет к подкупу, а будет полагаться только на собственные силы, во славу бога, который по воле своей определит ему награду или оставит без оной.

Все подняли руку, и одни произнесли коротко «Клянусь», а другие добавили еще: «Если я клянусь честно, да будет то, чего я хочу, а если ложно,— да произойдет со мной несчастье» или какие-нибудь еще слова. Некоторые, выступив из рядов, присягали у самого алтаря, касаясь рукой горячих, окровавленных камней.

У мальчиков процедура тянулась дольше. Каждого вызывали по имени, потом назывался тот, кто присягал за него, затем он представлялся богу и только потом, положив ладонь на голову юного атлета, собственной жизнью и счастьем ручался за него.

В самом конце состоялась клятва элланодиков. Очистившись сперва несколькими каплями жертвенной крови (для чего погружали руки во внутренности кабана), они по очереди повторяли слова, которые произносил председатель Совета: они будут судить по чести и совести, не поддадутся ни на какие уговоры, угрозы, подкупы и мотивы своих решений сохранят в тайне.

Подбросили топлива, и сильный огонь уничтожил остатки жертвы. Кабана, лежавшего с выпотрошенным брюхом в луже крови, следовало убрать. Мясо клятвенного животного было неприкасаемо. Храмовая прислуга подняла его с земли и понесла к Алфею, который унесет его в море, как в глухую вечность. Но два лагерных пса, идя по кровавому следу, прыгнули

в реку и схватили плывущее мясо среди купавшихся в воде ветвей старого мирта.

По всем тропинкам Священной роши потянулся поток людей в сторону стадиона, несмотря на то что состязания мальчиков начинались лишь после полудня. Насыпь, отделяющая беговую полосу от гипподрома, была уже занята; на восточном краю, там, где стадион переходил в приречную равнину, рассаживались на принесенных табуретах и складных стульях. Но шумнее всего было на склоне Крониона. Люди карабкались вверх, точно в день потопа. Ноги скользили по осыпавшейся хвое, кто-то сползал вниз и увлекал идущих за ним. Цеплялись за ветви, которые с треском ломались. Те, кто сумел вскарабкаться на деревья, весело перекликались, устроившись в тени и безопасности.

Тень была здесь наибольшей ценностью. Было жарко, месяц парфений — это все-таки еще разгар лета. Из всех времен года лето вроде бы наименее подходило для многолюдных сборищ. Но такой порядок установил в незапамятные времена земледельческий народ. Вот закончилась жатва, хлеб обмолочен и ссыпан в амбары. Человек свободен до середины сентября, когда звездный Воз отправится на сбор фруктов, винограда и олизкового масла.

Строгий обычай не позволял покрывать голову шляпой или еще чем-нибудь. Но на всех были венки, а некоторые сплели себе из цветов и листьев подобие чепцов, которые сдерживали солнечные жала.

Волнистый склон оканчивался террасой, сходящей к Альтису девятью ступенями. На них располагались небольшие строения в виде святыnek. Их фасады, украшенные колоннами, смотрели на юг, из чего можно было понять, что это не обиталища богов. Это были сокровищницы, куда складывались самые ценные приношения и жертвенные принадлежности. Надписи на архитравах указывали, где чья собственность: Гелы, Метапонта, Византия, Сикиона, Самоса, Эпидамна; на этом ничтожном пространстве был представлен весь огромный греческий мир; с одного из фасадов напоминал о себе город Сибарис, уже несколько десятков лет лежащий в развалинах, а сокровищница сиракузян, самая недавняя, рассказывала, как трофей, об их победе над Карфагеном. Повсюду

виднелись разноцветные карнизы, цвели на солнце пальметки из расписной терракоты, водостоки разевали звериные пасти, на мегарской сокровищнице горельеф в тимпаноне изображал гигантомахию, у киренцев нимфа Кирена сражалась со львом. Каждый камень этих стен был привезен с родины, многие части были целиком изготовлены дома, и они были символом родной земли, зримым знаком союза с олимпийским божеством.

Понемногу начали размещаться и в сокровищницах. На эти великолепные ложи имели право лишь официальные представители тех государств, чьей собственностью они являлись. Там же, где право собственности потеряло силу либо было сомнительным, решало постановление Совета.

У богатства и власти движения были степенны, шаг медлен и тяжел, будто отягощен сандалиями из золота, расшитые плащи не давали рукам свободы, равнодушная улыбка создавала видимость доверия и приязни. Толпа взидала с холма на встречу властителей. Зрелище удивительное, особенно, если знаешь взаимоотношения этих людей: как один трудится над упадком другого; если понимаешь, что для Гиерона, например, потускнело бы солнце, узнай он точно, что старый Ферон из Акрагаса вовсе не умрет в нищете и позоре. Но Гиерон с улыбкой на болезненном лице шагал между Фероном и его сыном Фрасидеем, меж двух отравленных кинжалов, и вводил их в сокровищницу Гелы, и возвращался, здороваясь по пути с господами из Селинунта, которых жаждал видеть в цепях и оковах.

Снизу по ступеням поднимались все новые группы, не спеша и не теснясь. Это были люди, для которых мир был даже слишком просторен. Им расчищали дорогу корабли, плывущие под их флагом, тысячи рабов трудились на их полях, а тот, кто сам по себе значил немного, опирался на могущество своего государства, и многие архитеоры походили на богиню Кибелу — они будто несли на голове корону из башен родного города.

Но македонский царь скромно уселся на одной из нижних ступеней террасы. Когда его заметили там, по всему взгорью прокатился гомон признания. Для многих это было сигналом. Не уверенные, что их при-

гласят в сокровищницы, представители мелких государств с радостью приняли эти места, которые он превратил в почетные. Подходили члены Совета, жрецы и, закрепив за собой места, стояли и беседовали — еще успеют насидеться и испытать неудобство этих жестких и узких камней. С террасы раздавались оклики, звучали уважаемые имена. Кто-то крикнул: «Пиндар!» И когда сотни глаз метнулись за указующим пальцем, кое-кто успел заметить осанистого мужчину с красивой бородой, который скрылся в сокровищнице Гелы.

На склонах поднимался шум, стоило распознать кого-нибудь из прежних олимпиоников. На звук своего имени оборачивались юноши с первым пушком на лице, зрелые люди, и были среди них те, чьи статуи стояли в Священной роще, а несколько стариков прошли как видение забытых лет. Энтузиазм вызвал старый Дамарет из Гераи.

Первый победитель в беге с оружием на шестьдесят пятой олимпиаде, красавец, старик с седой бородой и длинными волосами, которые несколькими косицами падали ему на плечи, он шел, держа под руку сына Феопомпа, победителя в пентатлоне, и своего внука Феопомпа, который на последней олимпиаде добыл венок в борьбе. Поразительно схожие чертами и осанкой, они чем-то напоминали дуб, чье старое, могучее тело разрослось двумя стволами. Дамарет являл собой пример высшего счастья, доступного человеку на земле. Те, кто видел его четыре года назад, когда внук с только что добытым венком подошел к нему, чтобы положить его на колени деда, поражались, что он все еще жив, точно эта чрезмерная милость богов была непосильна для человека. Вся терраса поднялась на ноги, каждый уступал ему свое место. Взойдя наверх, он сел среди мегарцев, которые находились ближе других.

Из резервуара над Герайоном пустили воду. По каналу, шедшему вдоль террасы, между нижними ее ступенями, помчался быстрый поток. Тотчас же сверху стали посылать кувшины, и они возвращались, передаваемые из рук в руки. Вельможи из первых рядов превратились в разносчиков воды. Никто не уклонялся от этой обязанности, и царь Александр действовал проворнее других. Наверху делали огромные за-

пасы, много воды проливалось по пути. Возникали споры из-за путаницы с сосудами. Но вдруг все стихло при виде выходящих из Рощи элланодиков.

Капр идет первым, за ним попарно восемь других. За этим красным столбцом появляется строй нагих мальчиков, точно брусок чистого золота. Они смотрят под ноги, чтобы не нарушить равнение. Вслед за последней парой идут одетые в белое тренеры. Потом следуют остальные атлеты, тоже во всем белом. Тренеры входят за ограждение, приготовленное для них под алтарем Геры, атлеты окружают шатер элланодиков. И только группа нагих мальчиков застывает перед алтарем Зевса, чей конус курится остатками утреннего жертвоприношения.

Из Герайона выносят треножник, два человека устанавливают его перед судьями. Почва неровная, он шатается, его двигают туда-сюда, покуда ножки не находят твердого упора. И снова минуты ожидания, и все вглядываются в Рошу, зеленая стена которой сегодня полна сюрпризов, как театральная сцена. Из нее появляется феокол, верховный жрец в месяц игр. Рядом с ним мальчик несет охапку ветвей дикой оливы и золотой нож, которым они были срезаны с дерева. Это сын одного из спондофоров, будущий жрец, у которого живы оба из родителей, ибо нельзя касаться святого древа никому, на чью судьбу пала тень смерти. Подойдя ближе, феокол берет мальчика за руку, будто желая оберечь его от страшной, наполненной многотысячными взглядами пустоты. Капр принимает от мальчика ветки и нож и кидает их на треножник.

Один из элланодиков оглашает имена по белой таблице. Вызванный отделяется от четырехугольника, который шевелится и вздрагивает, чтобы его выпустить. Тут же его имя повторяет глашатай и, обращаясь к зрителям, спрашивает, не знают ли они какой вины за этим человеком. Столько расспросов было посвящено каждому из атлетов, столько свидетелей выслушано для доказательства их чистоты, но вот еще в последнюю минуту их выставляют напоказ перед всем светом с подозрением и недоверием! Но словам глашатая отвечает молчание, лишь изредка чье-то имя из шестнадцати вызванных доносится откуда-то эхом и чьи-то глаза высматривают его издалека.

Разве что двое или трое из них обнаруживают физическую зрелость; их формы, которые еще, конечно же, разовьются, уже нашли свои окончательные пропорции. У остальных очертания еще слишком прямые и угловатые, их будущие изгибы и развороты пока еще предсказать невозможно. Лишь ноги, закаленные в беге, развились преждевременно — так дерево с солнечной стороны покрывается зрелыми плодами, в то время как в тени на ветвях висят еще зеленые.

Гисмон подает им урну. В ней таблички из кости, на каждой написана одна из букв алфавита. Участники подходят поочередно, погружают не глядя руку в сосуд (слышно даже нервное движение пальцев в его глубине) и, вытащив жребий, протягивают его стоящим позади элланодикам. Таким образом каждый получает место в одной из четырех четверок.

Первая из них выходит на линию старта, которая находится напротив алтаря Зевса. Три элланодика, и среди них Гисмон, провожают их и садятся под навесом, растянутым для них на гребне насыпи. По другую сторону стадиона на белом жертвенном камне сидит женщина, единственная имеющая право находиться здесь во время игр. Это жрица богини Деметры Хамины.

Отделенная от элланодиков шириной стадиона, имея могилу Эндимиона за спиной, укрепленная в своем извечном и непонятном праве, она являет собой живой останок давно исчезнувшего мира.

Божество, которому она служит, не имеет своей формы. Чтобы узаконить его в глазах нового времени, его соединили с Деметрой, богиней плодоносящей земли. Однако древняя Хамина этимологией своего имени обнаруживает совсем иной смысл: оно означает Бездну, именно ту самую пропасть, в которую смерть сбрасывает человеческое существование. За ней стоят стародавние времена невежества, страха и незащитности, бесконечное прозябание первобытных людей, блуждающих в непознанном мире, среди тайн, которые они сами себе создали.

Мальчики встали на старт, и тот же голос, который столько раз заставлял их срываться с места во время тренировок, голос Гисмона, крикнувшего «Апитэ!» толкнул их вперед.

Солнце, чуть перешедшее точку зенита, бросает

им под ноги их собственные короткие и дрожащие тени. У одного распустились волосы, связанные узелком на затылке, и теперь реют над лоснящейся от масла шеей. Руки, пущенные в ход, как крылья, бьют по воздуху, который опалает все нутро. Вот кто-то первым достиг черты и, будучи не в состоянии остановиться, пробежал еще несколько шагов, но след его стопы виден у меты, с продолговатой, глубже, чем у других, вмятиной от большого пальца.

Победил мальчик из Византия, и родной город приветствует его криком. Остальным его имя пока ни о чем не говорит, слышны нетерпеливые призывы к тишине: вторая четверка уже на старте.

Краткие мгновения бега. Четыре линии сверкающего порыва — как четыре молнии, а затем крик толпы — как гром. И вот наступает гнетущая, напряженная тишина, под безоблачным небом назревает человеческая буря.

Победители четверок выходят на решающий старт.

Ласточка пронеслась со свистом, на одном из деревьев колыхнулись ветки, слышно, как кто-то пьет воду торопливыми, громкими глотками. Над стадионом повисло немое ожидание.

Четыре мальчика стоят на старте, и, хотя это сплошь победители, они все еще птенцы беговой дорожки. Их угнетает серьезность минуты, они не могут совладать с дрожью: на руках под слоем масла видна гусяная кожа.

Гисмон кружит над ними как аист, выводящий свою молодежь в первый полет. Если б можно было, он сказал бы им что-нибудь, поддержал бы их словом и лаской. Между тем он все поправляет их позиции, передвигает ноги поближе к черте, будто пробует тетиного лука.

— Апитэ!

Они оторвались от земли, и уже ничто не удержит их. Они летят с быстротой и безоглядностью камня, сброшенного в пропасть. Гисмон не двигается с места, обремененный их ошибками, действительными и воображаемыми, оглушенный внезапным чувством страха, — неужто ему хочется, чтобы победили все четверо?

А они бегут, будто намереваются осуществить это невыполнимое желание. Вот уже середина дистанции,

вот они миновали две трети, связанные невидимой веревкой, будто бы стартовая черта несется вместе с ними, натянутая поперек их груди!

Весь мир замирает в их равноборстве, ничей вздох не нарушает этих божественных весов, на которых взвешиваются их судьбы.

Но тут ровная поверхность бега дрогнула короткой волной и прорвалась в том месте, где бежал Главк. От нижних ступеней террасы до самой вершины холма пронесся магнетический ток, и каждый ощутил натиск огромной воли, сосредоточенной в тщедушном теле мальчика с острова Хиос.

Несколько голосов вразнобой выкрикнули его имя. Тут же подхваченное, оно разрослось в вопль, который ворвался в отделявшее его от соперников пространство и, все более мощный, страстный и яростный, катился за ним и, как половодье, выбросил его наконец за мету.

Потом были минуты, когда вокруг него безумствовала буря, а он, воздев руку в последнем усилии бега, выглядел потерпевшим крушение, который взывает о помощи, и затем, будто и впрямь тонул, упал на ступени алтаря, и огромная волна голосов схлынула, будто ее вобрал песок стадиона.

Наступила тишина. Мальчик вел себя непонятно. Обычай велит, чтобы атлет, даже если его победа несомненна, стоял в своей четверке и ждал, когда его позовут под навес к элланодикам. Часть зрителей, сидевших к западу от алтаря, не могла понять, куда он запропастился. Но вся терраса и весь склон холма со стороны дорожки не спускали с него глаз.

Вот он уселся на нижнюю ступеньку алтаря, вот поднимает правую ногу, кладет ее на левое колено и наклоняется над стопой. Под мизинцем торчит колючка, он извлекает ее, и на коже блестит капля крови.

Как и когда беговая дорожка ужалила его этой колючкой? Случилось ли это до того, как он вырвался из четверки, или уже на последних шагах? Никто этого не знает, он сам не имел об этом понятия до тех пор, пока душа его, вырвавшись из стихии бега, не вернулась к нему.

Сидящий Главк, согнутый в три погибели над своей ногой, был так мал и неказист, будто не победный

стадион лежал за его спиной, а обыкновенная полевая межа, по которой он гонялся за мотыльком. Он вытер пальцем каплю крови, встал и занял свое место с краю четверки, в которой он был ниже всех. Ни тени волнения не было на его лице. Оно казалось меньше из-за густых волос, которые падали на брови и оставляли открытым лишь небольшой треугольник лба.

— Молодец, мальчишка, — сказал Иккос Социону, — но лучший в этой четверке Леагр. Главк имел время отдохнуть в течение двух забегов, а Леагр бежал два раза подряд. Прибавь к этому, что Главк легче всех и ноги у него не так вязнут в песке.

— Еще неизвестно, добежал бы Леагр с колючкой в ноге?

Содам смеется:

— Забавный парнишка, этот Ксенофонт! Вы знаете, он обещал своей Коринфской Афродите пятьдесят девушек, если победит! Я столько раз ему говорил, что его девушки еще не родились.

— Он шевелит губами, будто переругивается с Афродитой, — вставляет Фелесикрат.

— Оставьте его в покое, — говорит Скамандр, — из него выйдет хороший атлет.

Но Грилл прерывает их разговор:

— Взгляните на Гисмона!

Элланодик шел от старта крупными шагами, оставив позади двух своих коллег. Было слишком очевидно, как глубоко его ранила эта злополучная колючка. Губы у него тряслись. Войдя под навес, он слова не мог вымолвить, так и замер с поднятой рукой. Капр тут же его успокоил:

— Я все понимаю. Вели подсыпать свежего песку.

Тогда Гисмон подозвал одного из служек таким хриплым голосом, что бедняге вполне мог слышаться в нем скрежет тюремного засова. Служка что было сил помчался в сторону Булевтерия, к великой утехе толпы, которая подгоняла его криками, точно бегуна.

— Главк, — произнес Капр и встал, когда мальчик приблизился к треножнику, на котором лежали ветки оливы. Элланодик взял две из них, связал красной лентой и этот венок возложил на голову Главку. Глашатай прокричал первую победу в семьдесят шестой

олимпиаде, назвав имя мальчика, имя его отца и его родины — острова Хиос.

И родина низошла к нему. Группа земляков, среди которых находился отец Главка, выбралась из толпы и окружила его кольцом. К ним присоединилось немало афинян, поскольку остров Хиос принадлежал Афинам.

Главк снял с головы венок и протянул отцу. Это был солдат из-под Саламина, которому персидский топор отрубил правую руку в тот момент, когда он карабкался на один из царских кораблей. Не желая принимать венок левой рукой — дурная примета! — он кивнул своему брату. Дядя принял венок и снова возложил на голову мальчика. Тут к нему хлынули остальные, ему повязывали ноги, руки и грудь белыми и красными лентами, втыкали в волосы цветы, и в результате он стал походить на статуэтку божка, принаряженную к празднику.

Толпа ревела. Сверху бросали зеленые ветки, которые падали на сидящих вдоль террасы. Волны крика неслись от Крониона до самого холма Писы, и даже река не была им преградой — они звучали и за рекой: это холмы Трифиллии за Алфеем отзывались голосами женщин, которые с этого расстояния имели право следить за играми.

Тем временем прибыл воз с песком. Гисмон велел засыпать лишь последний отрезок полосы, какую-нибудь сотню стоп перед алтарем, и место для соревнований кулачных бойцов и борцов. Остальная часть стадиона покамест была свободна от состязаний, и этим не преминули тут же воспользоваться. Люди, располагавшиеся по ту сторону старта, придвинулись со своими скамьями и табуретами, многие усаживались прямо на песок, и в первых рядах — Главк со своей свитой. В районе старта осталась только жрица Деметры Хамины, которая со своего одинокого алтаря не видела ничего, кроме опустевшей беговой полосы.

Стали вызывать мальчиков, состязающихся в кулачном бою. Их едва набралось шестеро. Содам удивился:

— Клянусь Гераклом! Я не думал, что их так поразгоняют. Мне кажется, что в одной Элиде за все время набралась бы целая сотня.

Социон, помнивший многих, жалел о двух или трех парах.

— Не о чем жалеть, — вмешался Иккос, — и так это займет уйму времени. Мальчишки способны прыгать до вечера.

Он ошибался. Первая пара — Протолай с Алкимидом — сразу схватилась не на шутку. Молниеносные удары, молниеносные уклоны, мальчишки не расходились, наседая друг на друга, и следы их ног вычертили на песке неровный круг, или эллипс, словно магнитное поле держало их в своей орбите.

Первым ушел от града ударов Алкимид и отпрянул на пару шагов, раскрыв рот, будто вынырнул из воды. Но Протолай снова втянул его в водоворот.

Алкимид бьется одной правой рукой. Левая нужна ему для защиты, и он не отваживается пустить ее в ход. Он скован, он постоянно помнит о выговоре, который сделал ему элланодик за то, что он ударил левой ладонью, не сжав ее в кулак. Протолай, свободный в движениях, наискось бьет его левой. Из носа Алкимида течет кровь, под новыми ударами она размазывается вокруг рта и горит на лице как красный цветок.

Факел, пылающий факел воспаляет толпу. Уже не только кулаки Протолая колотят Алкимида — колотят его крики зрителей, они преследуют его, настигают, весь мир против него, и, наконец, задохнувшись, он поднимает руку, признавая свое поражение.

Туман в голове, в ушах, в глазах, но вдруг улыбка просветляет его лицо — и душа Алкимида, трепеща восторгом борьбы, проглядывает сквозь утомленное тело, как солнце сквозь тучи.

Из трех победителей — Протолая, Пифея и Агесиды — Пифей вытащил счастливый жребий, которым обычно пренебрегали, поскольку он во время боя мантинейца с локрийцем мог отдыхать и в итоге должен был иметь дело с вымотанным противником. Но Пифея, сына богатого и могущественного Лампона, это нисколько не заботило. Он был из породы людей, которые отлично знают стоимость любой вещи и дают себе отчет в том, что все самое ценное легче добыть волей случая, улыбкой удачи, а если надо, то и обманом. Его род своим богатством и влиятельностью во

многом обязан тому, что не привык считаться с людской молвой.

Поэтому Пифей со всем спокойствием отдался в руки своего массажиста. Они принадлежали к оставшейся горстке приверженцев Иккоса. Они до смешного подражали ему. И сейчас, не обращая внимания на бурливший вокруг мир, они принялись за дело.

Прежде всего массажист обтер Пифея губкой, потом sprysнул водой и, наконец, натер маслом. Все время он старался встать так, чтобы заслонить его от солнца. Мальчик захотел пить, и массажист принес ему кубок, но не позволил проглотить ни капли, велел лишь прополоскать горло. Не зная, следует ли делать настоящий массаж, он водил руками по его телу пассами египетских магнетизеров. Не исключено, что он его так бы и усыпил, но тут внезапный рев публики прервал всю эту магию.

Протолай был побежден. У него оказалось содраным колено, должно быть в результате падения. Его тренер Мелесий, знаменитый «воспитатель победителей», был вне себя от злости. Он с такой силой укутал его полотенцем, будто хотел задушить.

Агесидам, направляясь к своему тренеру, прошел мимо Пифея, обдав его горячим дыханием тела. У него распустился ремень на левой руке, и не успел он как следует затянуть его, а глашатай уже объявил последнюю схватку.

Бой, кажется, собирался затянуться. Пифей решил использовать свою свежесть и измотать противника, не нанося ударов. Он держался на расстоянии и всякий раз отскакивал, легкий и неуловимый, не обращая внимания на выкрики «Трус!», которыми старались принудить его биться. Агесидам вначале позволил втянуть себя в эту игру и азартно гонялся за ним, но потом остановился и стал ждать. Одобрительный смех зрителей освежил его, как струя воды.

Эгинец на минуту замешкался, все еще держась поодаль. Осторожность, с какой он начал приближаться, вызвала новый взрыв криков. Пифей, подхлестнутый стыдом, как бичом, кинулся на локрийца. Агесидам сдержал его натиск и тут же сам перешел в атаку. Эгинец отлично защищался. Но Агесидам был так дерзновенен, так напорист, так запальчив, что Пифей отступал, теряясь все больше.

Редко олимпийский стадион бывал свидетелем подобного тому, что произошло сейчас. Очевидцы предыдущей встречи Пифея и его победы не были готовы к подобному зрелищу. Вот он стоит скорчившись и обеими руками прикрыв голову. Этот жест беспомощности и страха, за который мальчиков секут в палестре, был чем-то настолько невероятным, что многие подозревали здесь уловку. Публика умолкла, ожидая сюрприза. Сам Агесидам, готовый нанести удар, заколебался, как пес перед свернувшимся в клубом ежом.

И тогда, Илас, ты заслужил бессмертную славу и навсегда связал свое имя с именем своего воспитанника. Ты крикнул Агесидаму, своему мальчику:

— Бей снизу!

Агесидам слышит этот крик и как в озарении бьет в незащищенный подбородок Пифея. Кровь течет из разбитой челюсти, ноги подкашиваются, сын Лампона шатается и падает. Локриец имеет право еще на один удар, он наклоняется, но внезапно разжимает кулак и той же самой рукой, которой поверг противника, поднимает и поддерживает товарища.

Что остается от криков, аплодисментов, возбуждения пусть даже и многотысячной толпы? Это всего лишь мимолетность, пусть неповторимая и могучая, но неизбежно пропадающая в безмерности времени. Ничто не остановит волны звуков, расходящиеся все более отдаленными кругами в свое надземное странствие, вечно сущие и навеки потерянные для человеческих ушей. Те, что звучали в тот день именем Агесиды, шепчут его и сейчас где-то там, среди паутины вселенной, такие же безвозвратные, как формы этого прекрасного тела, бывшего тогда предметом восторга и наслаждения, а потом рассыпавшегося в прах.

Но вот плита, на которой запечатлелась атмосфера того горячего дня 18 августа 476 года до нашей эры:

«Есть время, когда потребен людям ветер, и есть время небесных вод, влажных детей туч. А когда усилие достигает цели, потребны гимны, сладостные как мед, заповеди громкой славы, верного свидетельства великих доблестей.

Непреходяща слава олимпийских победителей.

И я в честь твоей битвы, о сын Архестрата Агесидам, рядом с золотым венком кладу мою песнь».

Это ода Пиндара, все слова которой жили в нем в тот день, когда он сидел в сокровищнице Гелы, рядом со своим старым приятелем Фероном из Акрагаса, и когда встал, чтобы пожать руку своему юному приятелю — Агесидаму из Локр Зефирийских. Его привел отец, Архестрат, который, обращаясь к князю, сказал:

— Я слышал, сын Энесидема, что после игр Пиндар отправляется с тобой. Если позволишь, я попрошу его часть этого времени подарить моему дому.

— Я приеду за тобой на корабле, — говорит Агесидам Пиндару.

Мальчик, увитый венками и лентами, пахнет зеленью и ристалищем. На руках еще видны розовые следы от кулачных ремней, а на колонне, к которой он прислонился, остается жирный след масла.

Тем временем со склона горы заметили повозку, ехавшую вдоль Алфея. Она двигалась очень быстро в облаке пыли. Блестели на солнце окованные бока и богатая упряжь, над лошадьми все время вился кнут. У лагеря она замедлила бег и скрылась среди палаток.

Кто бы это мог быть?

В этом вопросе звучало беспокойство, которое проникает в душу вечером, когда все свои дома, а на подворье внезапно раздаются чьи-то шаги. Ожило воспоминание о последней олимпиаде, когда дороги были полны новостей и тревог. Человек, явившийся внезапно, принадлежал именно тому времени.

Он шел сейчас мимо Булевтерия, минуя толпу лагерных рабов, глазевших на него издали. Затем его скрыли деревья Роши. Тысячи глаз следили за всеми выходами тропинок. Он, должно быть, поблуждал там немного, поскольку внезапно появился со стороны могилы Пелопса. И тут его узнали. Не раздалось ни звука, царило безмолвное внимание, как будто толпа рассматривала черты его лица, будто пересчитывала седые нити, которые вплелись за прошедшие четыре года в его красивую черную бороду, столь хорошо известную саламинским бризам. Но люди из колоний не знали, кто он таков, и имя Фемистокла стало шириться всевозрастающим шепотом.

Он остановился, легко вскинул голову вверх и чуть набок, будто прислушивался к этому шепоту. Высоко поднял руку в приветствии. Ему ответил крик, сперва дружный и общий, сменившийся затем беспорядочным гамом, мешаниной возгласов и приветствий, которые сопровождали его, пока он шел к террасе.

Дальше его не пустили. Из людей, вскочивших на ноги, чтобы поздороваться с ним, образовалась стена, а он стоял перед ней и пожимал десятки протянутых рук. Царя Александра он обнял; им столько нужно было сказать друг другу, что не пришло в голову ни единого слова. Зато другие засыпали его вопросами, на которые он отвечал кивками и улыбками. Заметив Гидну, стоявшую на одной из верхних ступеней, он подал ей руку поверх людских голов.

Весь холм повалил на террасу, толпа захлестнула сокровищницы. Трещали ветки, растаптывались сосуды с водой. К своему вождю протискивались люди из-под Саламина: «Ты меня помнишь?» Они выкрикивали свои имена, подробности сражения. Каждый, кто видел его в тот день со своего корабля, был уверен, что и он его видел тоже.

Какая-то внезапная волна принесла Гиерона, который поначалу упирался, а затем и сам стал пробираться в сторону Фемистокла.

— Отчего же ты тогда не явился? — сказал афинянин. — Ты опоздал на четыре года.

Сиракузский тиран натянуто улыбнулся:

— Мы бы не поместились в заливе.

— Я бы уступил тебе немного места в открытом море.

«Крылатые слова» с быстротой ласточки облетели толпу, которая встретила их оглушительным взрывом смеха.

Со ступени на ступень Фемистокл медленно поднимался вверх, подпираемый толпой, валом валившей за ним.

Никто уже не думал о порядке. Многие потеряли свои места и расстались с мыслью их отыскать. Приходилось оставаться на террасе, которая превратилась в огромное, беспорядочное кочевье. Вельможи и олигархи, затиснутые на верандах сокровищниц, выглядели узниками. Толпа вела себя с вызывающей сво-

бодой, будто с появлением этого вождя демократии совершился внезапный переворот.

Однако здесь и там раздавались призывы к спокойствию. Часть зрителей осталась верна играм. А они шли своим чередом. Давно началась борьба мальчиков. Никто не знал, кто с кем борется, — голос глашатая тонул в общем беспорядке. Только земляки распознавали своих атлетов и пытались выкрикивать их имена. Их никто не слушал — не было сил оторвать людей от их собственного величия.

Прошло много времени, прежде чем они успокоились сами по себе, утомленные волнениями и упоенные словами. Все испытывали блаженную сытость, поделившись Саламином, как хлебом.

Солнце скрылось за холмами, долина будто налилась молодым вином. От алтаря Зевса падала тень, на границе которой два мальчика боролись, как духи дня и ночи. Наконец, один из них упал на колени, из всего тела лишь руки по локоть были в свету, а другой толкнул его и окончательно свалил во мрак.

На освещенной части поля, в пурпуре заката, среди пожара криков остался Феогнет из Эгины. Победитель в борьбе среди мальчиков.





ДЕНЬ КОЦИОНА

Второй день игр начинался на гипподроме. Ему предшествовала ночь суеты и беспокойства. Хозяева лошадей не ложились спать, опасаясь, чтобы прислуга чего-нибудь не упустила. Тысячу раз слышались одни и те же вопросы: сколько задали коням пшеницы, когда они в последний раз ели, нет ли какого-либо недомогания. Конюхи умоляли своих господ, чтобы те не будили животных, которым необходимо поспать. Тут же раздавались тихие шиканья, все умолкали или же разговаривали шепотом, как в комнате больного. Но вскоре кто-нибудь, испуганный скверным предчувствием, брал фонарь и отправлялся заглянуть в стойло или убедиться, что чужие люди не вернутся у конюшен. Некоторые заночевали здесь же, при лошадях.

Гиерон взял своего гnedого Ференикоса к себе в шатер. Среди ночи он разбудил своего шурина Хромия, чтобы тот пошел взглянуть на четверку, которая

должна была выступить в заездах колесниц. В последнюю минуту он удержал его:

— Нет ли здесь человека, который знает толк в колдовстве?

— Может, кто-нибудь из карфагенцев, — отвечал Хромий. — Но зачем это нужно?

— Ферон наверняка закопал магическую табличку против наших лошадей. Нужно что-то предпринять. Еще есть время, пока не зашла луна.

— Еще есть время, чтобы поспать, — рассердился Хромий.

Гиерон не мог заснуть, но стоило ему попытаться выйти, как Ференикос ржал сквозь сон, и сиракузский тиран застывал неподвижно. Рядом его наездник, молодой Хрисипп, спал без задних ног.

Едва начало сереть, отперли конюшни. Кони, выведенные из мрака, ржали, задирая морды к небу, будто вызывая Гелиоса, которому были посвящены. Люди выскакивали из шатров полуголые, сонные. На твердой, выжженной земле копыта звенели металлом, как цимбалы. Великолепная красота животных вызывала восторг. Казалось, что они явились из другого мира, что совершенство их форм являет собой неземные образцы, с которыми обычная лошадь имеет далекое и туманное сходство.

Были среди них кони из Арголиды, из Аттики, из Эвбеи. Их предков объезжал Ипполит, сын амазонки, в их жилах текла кровь чудесных кобылиц царя Диомеда, их история знавала времена, когда под ударом их копыт вдруг начинал бить родник, а бог морей Посейдон в образе коня носился галопом по первозданным лугам. Быстротой своих ног они были обязаны долгим векам странствий и войн, их благородные души учились верности и самоотверженности в лагерях паладинов, с которыми вместе возносились в дыме погребального костра. Ни один мускул, ни одно сухожилие, будучи частью их поразительной стати, не были результатом случайности: над ними трудились непрерывно многие поколения людей — такие же, как и они, благородной крови.

Им не уступали кони из Сицилии и Великой Греции — с более молодой родословной, но зато возвращенные в неограниченном достатке. Рассказывали небылицы о роскошестве их конюшен, о лекарствах, сле-

дящих за их здоровьем, о том, как им тщательно отмеривают овес, ячмень или пшеницу, и о памятниках, которые им ставят посмертно. Кое-кто, очарованный их прелестью, не сомневался, что их кормят цветами. Киренцы и в самом деле давали своим лошадям лотос. Они происходили от ливийской породы — рыжие, как лисы, с особым экстерьером, с глубоко вдавленной спиной, над которой широкий круп возносился наподобие купола.

При виде персидских лошадей поднялся шум. Их захватили при взятии лагеря под Платеями и теперь распродавали по всему свету. Ферон имел их целую четверку. Для их обслуживания покупали пленников. Каждому из них была обещана свобода в случае победы и смерть в случае проигрыша: не видели иного способа обеспечить должную опеку над животными, чьих повадок и способов выездки никто не знал. Сейчас они нервничали, будто их раздражал запах чужого народа. Ионийцы из Малой Азии, любители дальних странствий, распознавали среди них широкогрудых коней из Каппадокии и различали тех, которые происходили из Вифинии, Фригии и Меонии.

Не было ни одного вороного. Никто бы не осмелился сесть верхом или запрячь в колесницу животное, которое из-за своей масти принадлежало богам смерти и подземного мира. Гнедые всех оттенков, серые в яблоках, каурые, сивки и бурки двигались красивыми четкими пятнами, среди которых пара низейцев восхищала своей ослепительной белизной.

Лошадей купали в священной воде Алфея. Конюхи выезжали на самую середину реки и, окунув их раз-другой, возвращались на берег. Здесь их расчесывали, и можно было видеть собственными глазами серебряные и золотые гребни, которые вынимались из кожаных мешочков людьми сицилийского тирана. Потом их натирали маслом, как атлетов. Красивые длинные гривы расчесывали на обе стороны, подвигалась челка на лбу. У персидских лошадей гривы с левой стороны были подстрижены. Пристяжным в четверках заплетали хвосты и связывали толстым узлом у самого крупа.

Рабы приносили воду. Их отправили еще с ночи к далеким горным источникам. Каждого сопровождал доверенный человек, который, перед тем как набрать

воду, проверил сосуд, а потом закрыл его и опечатал. Сейчас проверялись печати, и хозяева собственноручно снимали их. Пузатые бронзовые котлы вмещали в себя количество воды, строго выверенное в долгих размышлениях. Прежде чем подать лошадям, туда вливали для возбуждения пару кубков вина. Лошади были некормлены, голько персы скормили своим по горсти люцерны.

Наездники и возничие были уже готовы. Первые — нагие и натертые маслом, как атлеты, вторые — в длинных белых хитонах, перехваченных в поясе и ниспадающих до щиколоток ровными складками, напоминавшими каннелюры колонн. На шее, в вырезе хитона, виднелись шнуры амулетов: их опасная профессия обросла вековыми суевериями. Кто-то жутким шепотом божился, что в жизни не выступит больше в истмийских играх.

— Мне показалось, что из земли вырос вдруг столб пара. Потом уже, когда меня вынесли вместе с колесницей, я узнал, что это сын Сизифа Главк, который расхибся на состязаниях, бродит там по гипподрому.

Другие пожимали плечами. Истмийского Главка можно назвать добрым духом по сравнению с олимпийским демоном, который обретается на восточном конце гипподрома, там, где стоит поворотный столб. Никто не знает его настоящего имени и называют его попросту — Тараксипп.

— Тот, что пугает лошадей?

— Он похож на ночной призрак, и глаза огненные!

— Ребенок с лицом старика, с длинной бородой и растрепанными волосами!

— Он птица!

— Очень напоминает крота, внезапно вылезает из-под земли, прямо под ногами лошадей!

— Он ужасно жужжит, как чудовищный жук!

Неизвестно, как он выглядит на самом деле. Похоже, он способен принимать любой вид, какой ему вздумается; многие видели, как он превращался в коня и пятым бежал перед колесницей, покуда не разносил ее вдребезги. Редко какой бог имеет столь преданных почитателей. Целую ночь совершались на его алтаре жертвоприношения. Возничие, наездники и сами хозяева навалили ему целую гору пирожков, жа-

ренных на меду. Бросали ленты, венки, отрезали клочок одежды или даже прядь волос, чтобы отдать что-нибудь от себя в обмен на безопасность своих лошадей и собственной персоны.

Ударяя рукой о землю, приговаривали: «Тараксипп, ступай в поле, ступай на дорогу, где ездят повозки». Или даже так: «Тараксипп, у меня под Этной табун лошадей; я даю его тебе на забаву». Подсказывали тысячу мест, которые ему неплохо бы навестить, предлагали свои конюшни, коровники, придумывали для него самое невероятное озорство в городах, в горных ущельях, а порой и прямо срамили, говоря, что, имея перед собой весь мир, захватывающий и неизвестный, он, точно вялая улитка, торчит под одним и тем же несчастным столбом. Другие угрожали ему гневом более могущественных демонов: «Ты будешь связан, Тараксипп, и привален большим камнем, ты будешь стонать тысячу лет, покуда мой потомок, имени которого я не знаю, не освободит тебя новым заклятием».

Но вот уже запрягают лошадей. Возничие следят за каждым движением прислуги, осматривают каждую часть колесницы. Она происходит от давней боевой колесницы; так же как и у той, у нее два высоких колеса, но только поменьше размером, и в ее легком, открытом сзади кузове уместается лишь один человек. Упряжь и поводья блестят золотом. Хозяева вручают возницам бичи таким торжественным и исполненным достоинства движением, будто передают им власть над целой провинцией. Наездники обвязывают ремнями ноги у щиколоток. Нет ни стремян, ни седел. Ухватившись за гриву, они вскакивают на коней. За ними трогаются колесницы.

Социон проснулся в опустевшем бараке. Пустовали не только постели мальчиков, которые с этого дня не принадлежали уже к участникам и перебрались в лагерь, но и мужчины подхватились ни свет ни заря.

Холстина у входа была отброшена на крышу, в прямоугольном проеме сквозил клочок неба. Первый луч солнца вырвался из-за гор и поджег белое облачко, которое замерло на несколько мгновений в сказанной своей прелести и растаяло без следа в бледно-голубом просторе. Жаркие губы дня одним глотком выпили эту росистую пену.

Молодой тарентец, не имевший обыкновения выискивать в небе знаков, на этот раз заметил это и учел, поскольку был уверен, что этот день не может начаться как всякий иной. Обычная человеческая иллюзия — он был сейчас самым центром мироздания.

Впереди еще было много времени — об этом говорила длина его тени. Социон, выбежав из барака, оглянулся на этого долговязого темного спутника, который станет теперь все укорачиваться, а когда он снова начнет расти, наступит время пентатлона.

Между бараками и Булевтерием было пусто. Все ушли к реке, где еще выстаивались кони, или к гиппоподрому, вокруг которого становилосьлюдно. Где-то недалеко, однако, отзывались знакомые голоса. Идя на их звук, Социон вступил в заросли на берегу Клады. Внизу меж высоких отвесных стен желтого песчаника бежал узкий ручей. Атлеты мылись, стоя по щиколотку в воде. Они наклонялись за пригоршней воды, и арки их тел пролетами моста выгибались над потоком. Они захватывали со дна песок и натирались им. На плечах, на груди проступали большие красные пятна.

Рассказывали сны, говорили о гаданиях.

Едва ли не каждый по пути в Элиду завернул к тому или другому оракулу. Сейчас они взвешивали мудреные слова, которыми им отвечал Аполлон в Кляре, на Делосе, в Дельфах; некоторым удалось послушать шелест священного дуба в Додоне; кому-то вещал голос Тиресия в Тильфосии над озером Тритонис, а Герен даже признался, что спал в заколдованной пещере Трофония в Левадее.

— Самое надежное гадание — это гадание по лошадям в Онкесте, — сказал Ладас. — Оно происходит на лугу, у рощи Посейдона. Запрягут колесницу, хлестнут лошадей и пустят их без возницы. Если въедут в рощу, — верная победа.

Патаик и Эфармост, у которых нет за душой ничего, кроме собственных снов и пары амулетов, чувствуют себя вовсе беззащитными. Но тут они слышат, что Каллий, потомок эленсинских жрецов, говорит:

— И здесь есть оракул. Прорицатели из древних родов Иама и Клития толкуют сны и читают по дыму жертвенника. Ведь Олимпия в прежние времена была оракулом.

Тут Социон прыгнул вниз и оказался за спиной Каллия.

— С какой звезды ты свалился? — усмехнулся афинянин.

— С Луны.

— И что же там слышно?

— Завтра, говорят, полнолуние.

— О, вот этому предсказанию можно довериться, — сказал Грилл.

Социон вошел в воду и показал, что значит мыться в олимпийском ручье на рассвете дня твоих соревнований.

Под ногами у него закипели, забили фонтаны, точно он раскопал на дне новые ключи; где другие находили пригоршню воды, он плескал ее целыми потоками. Он извивался в бешеной пляске, фыркал, кричал во все горло, а вода, взбитая его руками и ногами, безумствовала и буйно хохотала вместе с ним. Он выбежал из ручья одичалый, с широко раскрытыми глазами, в которых мир крутился еще водоворотом, а его развеселившаяся кровь пылала, и зарево охватывало все тело.

Он взял гребень у Грилла, как когда-то в первый свой день в Элиде взял у него сосуд с оливковым маслом. Зачесал назад влажные волосы, и надо лбом засветилась незагорелая полоска, как серп полумесяца; Грилл помог ему заплести две косицы, которыми он окружил голову, связав концы впереди и прикрыв их челкой.

Заговорили о вчерашних состязаниях. Эвримен хваливал Феогнета:

— Фемистокл все испортил. Никто не смотрел на схватку, а она была красивая.

— И заметь, — добавил Патаик, — что он одолел самого Драконта, олимпионика. Таковую победу считай вдвойне.

— Считали бы, прервал его Грилл, — кабы прежняя олимпиада чего-нибудь стоила. И сорока атлетов тогда не набралось.

Социон вдруг заметил, что нет Иккоса. Не хватало и многих других, разбежавшихся по лагерю, но у него были слишком веские причины думать только о нем. Куда он подевался? Лагерь его, безусловно, не привлекал, он был не из тех, что шатаются между па-

латками и пристают с разговорами. Еще невероятнее, чтобы он глазел на лошадей или искал местечко на гипподроме; оно было за ним, вместе с другими атлетами, у шатра элланодиков.

Социон побежал вдоль Кладея к тому месту, где берег становился пологим. Отсюда он подался прямо на стадион.

Иккос был на поле. Он стоял еще с гальтерами в руках, а его мальчишка собирался замерять длину прыжка. Склонившись над дротиком, служившим ему мерой, он обернулся на шорох песка, смешался, точно пойманный на горячем, и быстро взглянул на господина. Иккос обернулся тоже.

— И вот так весь пентатлон проделываешь? — спросил Социон.

— Было бы неплохо, если б ты согласился еще быть мне партнером в борьбе.

— Охотно, но после полудня.

Мальчик тем временем измерил прыжок и шепнул результат Иккосу на ухо, на что тот кивнул головой.

— Мне кажется, что ты в этом видишь что-то неподобающее, — снова обратился он к Социону.

— Я-то что, но если тебя увидит кто-нибудь из Совета или из элланодиков...

— Ясно. Потому я и выбрал время, когда они заняты в другом месте. Я их знаю. До них только лет через сто дойдет, что именно здесь необходимо соорудить гимнасий и палестру.

— Что ж, потерпи сто лет, а пока изволь считать-ся с обычаем, запрещающим тренировки на олимпийском стадионе.

Иккос сделал знак мальчишке, который в минуту все прибрал.

— Не выдашь меня?

— Что это ты вдруг меня испугался? — удивился Социон. — Имеючи отвагу прийти сюда... Здесь всякий мог тебя увидеть.

— Ты знал, что я здесь?

— Догадывался и пришел предостеречь.

— Клянусь Зевсом! Похоже, ты боишься меня потерять!

Социон молчал, размышляя о странностях этого человека. Иккос, аккуратный и осторожный, обстоя-

тельный и предусмотрительный, в самый канун состязаний мог попасть в историю, которая закончилась бы либо поркой, либо исключением, либо тем и другим вместе.

— Не понимаю,— сказал он,— зачем это тебе нужно?

— Не понимаешь? Мы вышли из Элиды десятого. А сегодня тринадцатое. Уже четыре дня я не тренировался. Почему вы все задаете мне такие вопросы? Можно подумать, что имеешь дело с людьми, которые в глаза не видели гимнаasia.

— А слушая тебя, можно подумать, что имеешь дело с варваром, не знакомым с нашими обычаями. Мог бы найти другое место.

— Я записался в пятиборцы, а не в козопасы. Ты хочешь, чтобы я бегал и прыгал по стерне?

— Эргофил обнаружил под Гарпиной отличный луг.

— Под Гарпиной! Шесть стадиев туда да шесть обратно. Ты, верно, был бы доволен, если бы я вернулся со свинцовыми ногами?

— Купи себе мула!

И он оставил его под Герайоном. Не хватало терпения на эти разговоры, которые рано или поздно отзывались презрением и ненавистью. О взаимопонимании не могло быть и речи. Они принадлежали к двум разным мирам. Мир Социона был еще так всевластен, что Иккос представлялся ему досадным недоразумением, на которое можно было не обращать особого внимания. И когда Социон шел пустырем в восточной части Альтиса, ему сопутствовали статуи тех, кто создал его идеалы мужественности и силы, послушные велениям жизни, радостного приятия любых условий, здоровья, не расходуемого на подозрительность и мелочный расчет. Их улыбающиеся лики смотрели на восток, их тела из дерева, мрамора или бронзы горели утренним солнцем, даже тени их скрывались среди деревьев, которые росли за ними.

Сегодняшний день мог поставить его в один ряд с ними. Эта мысль заставила его остановиться. Он охватил взглядом всю аллею славы, от столба Эномая до Булевтерия, и заметил, что место для него нашлось бы. Статуи не теснились, было между ними много свободного пространства, не занятого даже па-

мятными табличками. Но как во сне не увидишь собственного лица, так не мог Социон представить себе свою статую. Мысленно он видел только цоколь со своим именем. Выше была пустота, которую он никак не умел заполнить. Он устыдился своего тщеславия.

— Видно, мой мрамор спит еще под землей!

Иккос же, идя от Герайона, миновал пританей и вступил в рошу, тянувшуюся до самых склонов горы Кроноса. Здесь росли старые платаны, под их густыми ветвями было совсем темно. Мальчик, несший гимнастические снаряды, немного отстал. Потеряв за стволами деревьев Иккоса, он стал окликать его. Они казались двумя путниками, заблудившимися в неведомой стране на краю света.

Говорят, что человеку случается раз в жизни пройти над своей могилой, коснуться стопой места своей смерти. Эта минута будто бы никогда не проходит незамеченной, она заявляет о себе внезапным, необъяснимым испугом, который можно было бы ощутить совершенно явственно, если бы душа в тот миг была свободна от всякой мысли, от впечатлений, была бы тиха и распахнута, как пустое пространство. Точно так же дороги наши скрещиваются с путями будущего, и тогда мы оглядываемся, как на звук за спиной. Быть может, время — от истоков существования до конца всего сущего — это некое подобие ровной степи; каждый бежит по ней в собственной колее, а если свернет с нее на мгновение, — тут же вторгнется в то, что называют прошлым или грядущим.

От пританей Иккос ступал по земле грядущего. Все это пространство, дикое и заросшее, как пуща, должно когда-нибудь превратиться в гимнасий с портиками, в стадион с отдельными площадками для кулачных бойцов и борцов, со всем необходимым для того, чтобы тела, предназначенные для игр, не прерывали стараний над совершенствованием своего умения.

Всему, чего Иккосу так недоставало, предстояло здесь осуществиться с еще большим размахом, чем можно было мечтать. Однако ни малейшая частица его сознания не задрожала предчувствием. Только раз, коснувшись ладонью ствола платана, он вдруг ощутил под пальцами мрамор колонны.

«Устал я, — подумалось ему. — Устал или нервничаю. Важнейшая минута жизни, а я не нахожу себе места. Уже совершил сегодня отчаянную глупость, а теперь еще и галлюцинации начинаются. Уже который день я не знаю, в каком состоянии мои мышцы».

Это терзало его больше всего. Выбитый из ритма ежедневного вслушивания в жизнь своего тела, он растерялся, как моряк, не умеющий определить местоположение своего корабля. Сила, ловкость, искусство Иккоса складывались из вычислений, каждый день подготовки завершался подсчетом, по которому завтра нужно было что-то отнять или прибавить. Из всей этой бухгалтерии сейчас он имел на руках результаты последних поспешных дней в Элиде и длину сегодняшнего прыжка, который, правда, был хорош, но не давал никаких оснований для анализа — просто фрагмент, обрывок какой-то. Предоставленный исключительно догадкам, Иккос терял смелость. Спотыкаясь о корни, обходя кусты, он нес в себе горечь. Время, в котором он жил, лопалось на нем по швам, и невозможно было заменить его новым, по своей мерке.

А в восточной стороне Альтиса Социон ровно двигался в колее своей эпохи, не подозревая, как мало от нее осталось, целиком в помыслах, чувствах и устремлениях своего времени, которое лежало на нем безукоризненно и так же соответствовало ему, как его тело соответствовало его душе.

Он вспомнил, что он нагой, и направился к баракам. Но тут его внимание привлек шум со стороны гипподрома. Он не был бы тарентцем, если бы остался равнодушным к стуку копыт. Социон выбежал на могилу Гипподамии, откуда был виден гипподром.

Состязания колесниц уже начались. Их было тридцать, и десять дюжин лошадей натягивали повода. Три круга прошли спокойно, будто все зрелище и состояло в этой демонстрации красок, блеска и перезвякивания. Но это был лишь невинный рассвет событий, никогда не обходившихся без кровавого заката.

Впереди еще двадцать кругов, поскольку длина всей дистанции составляла семьдесят два стадия. Кони распялялись все больше. Возничие, наклонившись над бортом колесницы, достигавшим бедер, отложили бичи. По их вытянутым лицам, по напряженным му-

скулам видно было, какой ценой удастся им подчинить себе норовистых животных.

На пятом круге сорвалась правая пристяжная Карнеада из Кирены. Возничий, не успев сдержать колесницу, доехал до старта и там уже и остался.

— Перегрызла упряжь, — сказал он.

Стало быть, Тараксипп начинал потеху. Знатоки его обычаев предсказывали ужасные вещи. Сорвавшаяся лошадь прибилась к одной из четверок, затем снова бежала одна, блуждала по дорожке, уворачиваясь от несущихся колесниц или гоняясь за ними, покуда не удалось здесь же, у старта, набросить на нее ременную петлю.

Колесницы неслись в бешеном темпе, окутанные густым облаком пыли. Перепаханный ими гипподром обнажил под песком красную землю, которую взрывали конские копыта, забрасывая комьями передние ряды зрителей. Сам гипподром съезжился, превратился во вращающийся эллипс, ошеломленные души людей были вовлечены в бешеный круговорот движения. Мир, раскаленный еще с рассвета, был близок теперь к точке кипения, и небосвод дрожал, как крышка на кастрюле.

И вдруг этот вращающийся обруч лопнул.

Колесница государства Аргос зацепила поворотный столб, раздался треск сломанного колеса и многотысячный вопль. Аргосские кони рванулись в сторону и налетели на колесницу из Мессении. Произошел затор, летевшие колесницы, не сумев сдержать разбег, сталкивались, как звезды, сорвавшиеся со своих орбит. Завязался ужасный клубок, который лишь смерть могла распутать.

Но возничий Ферона, который шел последним, успел сдержать лошадей и, сколько можно сбавив ход, круто забрал в сторону и обогнул эту клокотавшую, как вулкан, свалку из колесниц, людей и лошадей. Он закрыл глаза, чтобы не смотреть, но весь этот ужас врывался в уши кошмарной мешаниной ржания и криков.

Олимпийская служба бежала на помощь. Хватали сорвавшихся лошадей, выносили людей, которые валялись из рук, бессильные, смертельно бледные; после них на песке оставались кровавые пятна. Когда вновь накатила четверка Ферона, все разбежались,

давая ей дорогу. И единственная уцелевшая колесница кружила по гипподрому без препятствий и соперников.

Возничий стоял вытянувшись во весь рост, высоко держа поводья. Всякий раз, как он приближался к роковому столбу, публика замирала, ожидая, что Тараксипп не упустит и этой своей жертвы. И точно, когда труба глашатая оповестила последний круг, кони из Акрагаса шарахнулись, испугавшись своего мертвого собрата, которого еще не успели убрать. Но возничий совладал с ними и одолел их страх, погнав их еще быстрее. Они мчались по опустевшей дорожке, будто убегали от невидимого преследователя, покуда не спас их пронзительный звук труб у пустой меты.

Социон спустился с кургана Гипподамии. Проходя мимо навеса элланодиков, он услышал, что кто-то его зовет. Ему махал рукой Эпиф.

— Ты видел Иккоса? — спросил он.

— Да.

— Где?

— Под Герайоном.

— Значит, он был на стадионе.

— Не знаю.

— А чьи там остались следы?

— Понятия не имею, о чем речь. А Иккос, когда я его встретил, шел от пританея.

Элланодик недоверчиво покачал головой:

— Клейдух видел одного из атлетов, который крутился на стадионе. Он говорил, что кто-то из пентатлона.

— Клянусь Зевсом! Я не думаю, чтобы клейдух так разбирался в атлетах.

— Он говорит, что у того были гальтеры.

— Ничего я не видел, — решительно сказал Социон.

— Ладно, иди. Но если что обнаружится — и ты получишь.

Атлеты уже знали обо всем. Социона обступили, стали выпытывать. Он знал, что не отобьется от них, если начнет отвечать на вопросы.

— Знаете, — зашептал он, — Иккос пробрался среди ночи на стадион и проделал там весь пентатлон. А поскольку у него не было напарника для борьбы, он пригласил Гермеса. Только вы никому не говорите.

Шутка успокоила атлетов. Вещь, над которой можно посмеяться, теряла свою тяжесть в их легких душах, будто переносилась на планету с меньшей массой.

— Пойдем в лагерь, что-нибудь перекусим, — сказал Содам, — позже не будет времени.

— Палатка моего отца ближе всех, — отозвался Эвтелид. Она была пуста, но на голос спартанца прибежал илот. Он принес сыр, хлеб и груши.

— Не кажется ли вам, — сказал Содам, — что время, которое мы провели в Элиде, сделалось вдруг бесконечно далеким?

Это означало следующее: «Итак, это наш последний совместный завтрак, и кто знает, встретимся ли мы когда-нибудь?» И еще вот что: «Не правда ли, время, проведенное в гимнасии, было самым счастливым? Не заключало ли оно в себе величайшую ценность жизни — устремленность?»

Каждый из них наверняка (а как же иначе) чувствовал на голове венок, который превратит его в совершенно другого человека, и этому другому человеку уже не место среди прежних товарищей. Достигнутая цель, несмотря на всю безграничную славу, опустошает сердце, которому так чудесно жилось. Встретится ли в жизни новая цель, столь же возвышенная? Будут ли еще дни столь же упоительной надежды? Найдется ли на свете что-нибудь, что может заменить неисчерпаемые блага товарищества и дружбы, которые каждый новый день обогащал благородным соперничеством?

И внезапно завязался разговор, где и речи не было об играх, никакого беспокойства перед решительной минутой. Потянулись шумные воспоминания о гимнасии. Звучали имена, связанные с пустячными, но незабываемыми происшествиями, вспоминали товарищей, не добравшихся до Олимпии, как поминают polegших в последнем сражении накануне заключения мира.

Гипподром уже пережил свои главные минуты. После состязаний колесниц появились повозки, запряженные мулами. Их было всего шесть, и все сицилийские. В старой Греции одна лишь Фессалия имела хороших беговых мулов, но в этом году Фессалия не участвовала в играх. Элейцы, которым вековой

предрассудок запрещал выращивать этих животных, с неудовольствием относились к этому виду состязаний. Победила повозка Анаксила из Регия.

Теперь завершалась калыпа, или кобыльи бега.

В середине последнего круга всадники соскакивали с лошадей и, держа их под уздцы, бежали рядом с ними к мете, увлекаемые их аллюром. Эта единственная часть конных состязаний не принадлежала царям. В калыпе принимали участие мелкие землевладельцы, каждый был всадником собственной лошади, которую сам взрастил.

Зрители, чувствуя, как мало здесь показного тщеславия и как много любви и искусности, сопровождали наездников неумолкающими поощрительными возгласами. Победил молодой афинянин Каллип из окрестностей Марафона на кобыле по кличке Мелисса. Его бег достоин стадиона.

Но вновь пришел черед царей, когда протрубили состязания в скачках. Для многих из них это была вторая решающая ставка в тот день, после катастрофы колесниц. В их числе был и Гиерон.

Он потерял двух коней, сломавших ноги, а его возница был смертельно ранен. Но больше всего мучило его не собственное поражение, а победа Ферона, которого он подозревал в колдовстве. Мысль, что Ферон уедет с венком, а он вернется с пустыми руками, приводила его в ужас.

— Ступай,— обратился он к Хромию,— и скажи Хрисиппу, что он получит целую мину серебра, если победит.

— Получит две: другую дам ему я.

Хрисипп вскочил на гнедого так весело, будто нес уже обещанные две мины в узелке за плечами. Многие помнили коня по пифийским играм, слышались голоса: «Ференикос!» Гиерон решил, что это добрая примета. Он не слышал, что окликали и других лошадей, отовсюду звучали выкрики: «Кнакий! Фойникс! Эол! Фойбос!»

Ференикос сразу же вышел вперед, но в следующую минуту Фойникс его обошел. Это повторялось несколько раз на протяжении целого круга. Гиерону казалось, что он стоит не на земле, а на морских волнах: то вознесет его, то обрушит вниз. Его больные почки будто стиснула горячая рука. То была смерть —

тьма, которая окутывала его всякий раз, как Ференикос уступал корпус рыжему Фойниксу, и новая жизнь — как только его гнедой вырывался вперед.

Как же трудно быть царем! Пусть кто-нибудь ответ на миг глаза от гипподрома и взглянет на это перепуганное лицо с красными пятнами на скулах. Нет, это ужасно — не иметь возможности спрятать лица, которое ничего не умеет скрыть!

Снова он летит вниз; увидев, что рыжая голова выдвинулась вперед, он закрывает глаза и падает в бездонную тьму, а когда общий крик: «Ференикос!» возрождает его к жизни, Гиерон, властитель Сиракуз, стоит под грозным небосводом в тысячах глаз, бледный, с сизыми губами, с влажным от пота лбом.

Хрисипп уже соскочил с коня и ведет его под уздцы. Он останавливается перед Гиероном, и тот дрожащими руками повязывает ему голову белой лентой победителя. Вместе идут они к навесу элланодиков. Наездник держится на шаг сзади, а Гиерон, ухватив Ференикоса за светлую гриву, ждет, когда Капр возложит на него венок из оливковых ветвей.

Глашатай, объявляя победу сиракузского скакуна, напрасно тужился. Никто его не слушал, толпа уже отхлынула от гипподрома и повалила в сторону стадиона.

Солнце приближалось к полудню, наступило короткое время перерыва. В прежние времена он длился долго, потому что прошлые элланодики, угощаясь по-царски, затягивали обед. Но Капр приказал есть быстро; еда уже ожидала их в пританее. Тем, кто отправился в свои палатки, грозило опоздание; половина сокровищниц пустовала.

На ступенях одной из них сидел Фемистокл. Людские глотки, еще не отдохнувшие от воплей на гипподроме, не выкрикивали сегодня эти три красивых слога. Берегли голоса для новых людей, вчерашних и нынешних победителей. Они приходили с белой лентой на голове: Главк, Агесидам, Феогнет, Каллип. Возничий Ферона, который не снял своей длинной одежды и запыленных сандалий, принес известия о пострадавших и громко сообщал их перед притихшим холмом.

Иные были заняты едой. У них имелись припасы в свертках, теперь они разворачивали их, и часто раз-

давались взрывы смеха при виде того, во что жара и давка превратила их сыр, хлеб и фрукты.

Так же выглядела беговая полоса, по которой прошли тысячи ног. Кто стал бы искать здесь преступные следы Иккоса! Они были забыты, засыпаны свежим, желтым песком, чистым и мелким, будто просеянным сквозь решето. После лопат и граблей олимпийской службы стадион выглядел аккуратным, ровным, манящим, как свиток пергамента, не тронутый еще ни единым словом, но готовый принять всю красоту, всю возвышенность человеческого вдохновения.

Появление атлетов и в самом деле воспринималось как зачин поэмы. Полтора десятка прекрасных стихов, в которых содержится заповедь удивительных и волнующих событий, переживаний, капризов судьбы, поражений и триумфов.

Пентатлон формует самых прекрасных людей, а это был цвет пентатлона. Церемониал с венками затянулся, подходили запоздавшие вельможи, но никто на них не обращал внимания, все взгорье молчаливо и пристально вглядывалось в атлетов.

Глаза жадно поглощали эти формы, изваянные искусством, на какое не был в то время способен ни один художник на земле; они охватывали больше, чем можно схватить одним органом чувств, насыщая и осязание, и вкус, и обоняние, словно это были прекрасные плоды с тонкой кожицей, сочной мякотью и редкостным ароматом. Атлеты могли бы стоять так до вечера, а потом уйти — и никто не вспомнил бы о состязаниях, довольно было одного их присутствия; так в некоторых мистериях шествие красивых мужей завершает богослужение точно последняя молитва.

Вид этих тел можно было сравнить со всем, что приносит самое возвышенное наслаждение, их можно было сравнить со звездной ночью. Был в них помимо ощутимого чувственного великолепия глубокий смысл совершенства. Они, как вселенная, удовлетворяли жажду порядка, но делали это несравненно теплее и сердечнее. Они были плодами земли — эти прекрасные существа, и совершенство их не превосходило человеческие возможности, оно лежало в их пределах, обнадеживая и вдохновляя.

Взгляды, переходя от одного атлета к другому, неизменно возвращались к Социону.

Его рост, форма головы и шеи, нежные губы, прямой нос, волосы, казавшиеся еще светлее на солнце, выразительные глаза — все это было настолько безупречно эллинское, что всматривались в него, как в пейзаж родины.

Пентатлон начинался обычным бегом на один стадий. Бежали парами. Одиннадцать атлетов разбили на четыре пары и одну тройку. Социон оказался в тройке вместе с двумя аркадцами. Его забег был последним, перед ним один за другим побеждали Содам, Исхомах, Эвтелид, Иккос.

Первый шаг Социона со старта был таким длинным, что казалось, он прыгнул. Он бежал посередине и, сразу вырвавшись вперед, образовал передовой угол треугольника, два других угла которого двигались за ним на неизменном расстоянии. За двадцать стоп до меты один из аркадцев рванулся вперед изо всех сил, болезненно искривив рот. Но Социон к этому моменту уже кончил бег, в последнем движении раскинув руки, и аркадец наткнулся на эту живую преграду.

Его приветствовал такой могучий вопль, точно он был единственным победителем и точно это уже конец пентатлона.

Социон испытал ощущения, каких до сих пор никогда не испытывал. Впервые он слышал голос целого света. В его юности царила до сих пор ничем не нарушаемая тишина. Он жил в постоянном движении, в неустанном шуме, но движение было его собственное, и шум был голосом его крови. Мир, люди — он ничего не знал о них, он думал о них редко, случайно и отрывочно, как могла бы думать стрела, проносясь среди полей, мимо домов с их обитателями.

И вдруг этот незнакомый мир звал его по имени! Называл его имя, отчетливо все три слога его имени, которое никогда не казалось ему таким странным и в то же время таким своим. Десять, двадцать, тридцать тысяч человек скандировали это странное слово. И как же страстно, с какой силой! Он жил в каждом из этих голосов, он был в каждом из этих людей, и они множили его своей неисчислимостью, и Социон ощутил себя переросшим все пределы воображения. Радость, мучительная, как испуг, распахнула ему

душу. Он заглянул в нее с изумлением: было там ясно и пламенно, будто солнце взошло.

Заиграла флейта. Это был не раб, как в гимназии, а прославленный музыкант Мидас в лавровом венке. Сопровождать флейтой пентатлон в Олимпии — это честь, это слава. Кто мог мечтать о большей аудитории? В Альтисе среди статуй победителей стояла статуя Пифокрита, который в целом ряде олимпиад помогал состязающимся своим искусством.

Мидас, прежде чем затянуть обычный напев, сыграл коротенькое произведение, награжденное в Дельфах, — молитву Аполлону. Тихий голос флейты звучал низко и не мог пробиться сквозь людской говор, и лишь когда шум улегся, он поднялся и взлетел к небу, как тонкая струйка голубого жертвенного дыма.

Первым прыгал Исхомах. Он был неплох, однако выступал ниже своих возможностей. От его черты последующие отдалялись, как ступени лестницы. На высшей задержался Содам, на два пальца дальше Иккоса. Социон, прыгавший последним, пролетел то же расстояние, попав своими ступнями точно в свежие следы друга.

Красота его прыжка всеми была замечена. Глаза публики, среди которой человек, не разумевающий в гимнастике, мог быть лишь случайным исключением, разглядели, различили и запомнили каждое его движение. Да прыгни он и хуже на две стопы — восторг бы не убавился. Этот живой снаряд, прочертивший восхитительной дугой воздух, был выше всяких похвал. Тело тарентца, слившееся с тактами музыки, казалось, было ее зримым символом. И прыжок Социона остался в памяти зрителей фрагментом чудесной мелодии.

Это всегда торжественная минута — когда атлетам предлагают на выбор три диска из сокровищницы храма Геры.

Они были одинаковой величины и тяжести и, несомненно, столь же древние, как диск, на котором записаны условия священного перемирия. Они помнили бронзовый век, помнили и хмурый рассвет железной эры, когда древняя династия меди и цинка, пережив десятки столетий, воспитав тысячи поколений, покорила новому миру, встающему из огня и

крови. Но время не оставило на них даже легчайшего налета прозелени. Хранимые в кожаных мешочках, завернутые в полотно, пропитанное маслом, появлялись они на краткий миг раз в четыре года, точно пробужденные от долгого сна, своим темным блеском напоминая змею, которую весна понуждает выползти из старой кожи. Принимая их в свои руки, атлеты видели на их гладкой поверхности свое отражение и не могли совладать с волнением при мысли, что это, возможно, смотрит на них призрак или дух, заколдованный в металле с незапамятных времен.

Первый бросок никому не удался, кроме Иккоса. Его стрела была воткнута далеко впереди остальных, которые торчали на поле там и сям и являли собой диаграмму утраченного душевного равновесия.

Бедняга Исхомах полег бесславно. Трижды не засчитывали ему бросок за нарушение черты. Он стоял с глазами полными слез, уничтоженный, раздавленный, пустой, будто его выпотрошили. Он был выключен из дальнейшей борьбы.

— Можешь идти одеваться, — крикнул Исхомаху Гисмон.

Невольно он посмотрел на свое нагое тело, предмет своей гордости, и оно показалось ему на весь остаток жизни совершенно бесполезным.

Все это происходило вне сознания Социона. Азарт овладел им и сделал бесчувственным. От всего мира, от всего того мира, который только недавно взывал к нему своим могучим голосом, остался один-единственный предмет — стрела с красным оперением, отмечавшая бросок Иккоса. Через минуту к ней присоединилась другая, почти рядом. Иккос работал ровно и точно.

Социон, ожидая своей очереди, не мог устоять на месте. Нетерпение иссушало его, как любовная жажда. Наконец, он ухватил диск взмокшей ладонью и, не обсыпав песком, метнул. Кружок ввинтился в воздух и долго еще кружился юлой на песке, но место его первого соприкосновения с землей темнело унылой отметиной среди самых плохих бросков.

И тут публика показала Социону всю свою сердечность. Каждый почувствовал его и понял: души, воспитанные в гимназиях, хорошо понимали, что с ним сейчас происходит. Он походил на лунатика,

любой голос мог сбросить его в пропасть. Не раздавалось ни звука, ни шороха.

И совсем по-иному зрители затаили дыхание, когда Социон в третий раз приблизился к черте.

Он был совершенно спокоен. Правую ногу он выставил вперед, и хотя тяжесть тела приходилась на левую, правая напряженными мышцами икры, прочно поставленной стопой готова была поддержать его в движении. Он прибегнул к ней в следующее мгновение, когда, перебросив груз из левой руки в правую, наклонился вперед, потом резко подался вправо, развернувшись всем телом, живой заповедью бронзы Мирона, снова выпрямился, перенося тяжесть тела на левую ногу, и, наконец, последний раз качнулся назад, и рука его, этот великолепный рычаг из связок и мускулов, после троекратного размаха пустила диск.

Он летел плоско, одним беззвучным блеском взрезая воздух, а когда упал — подпрыгнул разок-другой и так, в корчах и предсмертных судорогах, испустил свою душу, частицу вечного движения.

Социон все еще стоял не опуская руки, опираясь на все мышцы правой ноги и задержав дыхание, пока оно само не вырвалось из груди внезапным громким криком, когда диск миновал черту Иккоса.

После метания дротиков судьи совещались. Взвешивали результаты четырех частей пентатлона, чтобы решить, кто примет участие в последнем, решающем, его этапе — в борьбе.

— Не знаю, нужно ли это, — сказал Гисмон. — Победитель в трех видах может считаться победителем всего пентатлона.

— Это так, — возразил Эпиф, — но Социон не бесспорный победитель.

— Не потому ли, что аркадец дальше метнул дротик?

— Нет. Аркадец не в счет.

— Так кто же?

— Иккос, Содам.

— У Содама такой же прыжок, что и у Социона, — сказал Ономаст, — но разве можно их равнять? И, в конце концов, никогда у нас голая мера не решала. Пусть каждый сам себя спросит: кто из них лучший, не на минуту, не на момент состязаний, момент случайности и спешки, а вообще, в любое время,

когда человеку нужно положиться на свою силу и ловкость?

— Содама нельзя сбрасывать со счета, — возразил Эпиф, — хотя бы по тем же соображениям.

— Клянусь Зевсом! — воскликнул один из «стражей закона». — Нельзя отбросить Содама, но олимпийский обычай гласит, что если в пентатлоне выявится трое отличных, честных, смелых атлетов, нельзя ни одного из них обрекать на сидячее место.

«Сидячим» называли того из трех, кого жребий оставлял ждать схватки с утомленным соперником. Вчера этот удел выпал Пифею, и поражение его было вдвойне жалким. Действительно, этого не заслуживал никто из героев пентатлона. Капр разрешил сомнения, предложив допустить Эвтелида.

— Он этого достоин, — сказал он, — как хороший атлет, как спартанец, и к тому же у него такое громкое имя.

Но имени этому не суждено было вторично появиться в списке олимпийских победителей.

Эвтелиду было далеко до Иккоса, с которым свел его жребий. Он покорила даже раньше, чем думали, едва ли не прежде, чем успели это заметить. Потому что все внимание зрителей было приковано к другой паре. Обе пары боролись одновременно: Капр не хотел затягивать дело до сумерек.

Иккос, избавившись от противника, имел время не только отдохнуть, исполнить все обряды очищения и освежения своего тела, он успел еще понаблюдать борьбу Социона и Содама. Смотрел он внимательно и примечал множество важных и полезных мелочей. Вскоре он перестал обращать внимание на Содама: было ясно, что бороться ему с Соционом.

Ждать ему пришлось недолго. Вот он идет, победитель, в урагане криков, истекая потом, точно бог, рожденный из туч и молний!

В ограждении для тренеров был у него свой сосуд с оливковым маслом. Кто-то подал полотенце. Кто-то еще вытирал ему спину. Он не говорил ни слова, не различал лиц, точно обслуживали его тени. Когда тело было уже сухое, он начал втирать в него масло.

Пустой арибалл выскользнул из пальцев. Социон отшвырнул его ногой: ненужный предмет. Круглый сосудик подкатился под ступени террасы. Гидна, си-

девшая в первом ряду, наклонилась, подняла его, держала в руке. Ее глаза нашли глаза Социона. Взгляд девушки выражал восхищение, уважение и веру, он был теплым, как крепкое рукопожатие друга.

С первых же захватов Социон заметил, что имеет дело с новым, неведомым Иккосом. Вдруг заполнились «пробелы», удивлявшие всех в гимнасии. Там Иккос лишь защищался, здесь он атаковал. Социон, опешив от неожиданности, попался на первую же уловку — не сумел ее предвидеть. Рука, которую он выставил при падении, глубоко ушла в песок, коснулась самой земли. Это воскрешает и укрепляет, ибо в жилах человеческих течет кровь титанов, сынов Земли.

Социон ощутил ее в себе. Она дала о себе знать палящим пламенем, огнем гнева и злости. Имей он сейчас мускулы Герена, он задушил бы этого коварного человека. Это уже был не Иккос, товарищ давних лет, и не объект необязательных споров и неприязни — это была враждебная сила, хищная и жестокая. Больше собственной победы возжаждал он поражения противника.

Пока что ничего лучшего он не мог сделать, как только быть начеку. Но и это давалось нелегко. Всегда насквозь открытый, он в каждой встрече отдавал всего себя, и за месяцы, проведенные вместе в Элиде, Иккос успел основательно его изучить. Он знал его наизусть. Достаточно было первого движения, намек на движение, одного только блеска глаз, этих красивых, светлых, искренних глаз, чтобы Иккос его упредил. Не было в нем неизвестных — Иккос решал его, как детскую задачку.

Но что его сдерживало, так это неисчерпаемая свежесть Социона. Как только пытался он провести решающий прием, вкладывая в него весь остаток своих сил, он встречал такой резкий и решительный отпор, на какой сам уже не был способен, если бы вдруг Социон бросил осторожничать. Но тот слишком мучительно помнил первое падение, такое внезапное, такое неожиданное, и теперь полагался только на свою выносливость. Иккос переживал минуты напрасных усилий, точно боролся с Фонтаном.

Вскоре он одумался. Теперь он был скупее в движениях и не так старался. Постепенно он приучил

противника к мысли, что способен уже только на защиту. Раз-другой он покачнулся даже, точно ослаб в ногах. Социон и этому поверил. С наивной, простодушной хитростью он сделал движение, точно собирался захватить его шею, и тут же наклонился, чтобы поймать за ногу и опрокинуть. Иккос отшатнулся, и Социон, потеряв равновесие, упал.

Нельзя сказать, что вскочил он в мгновение ока. У него ушло на это немало времени. И не сразу он выпрямился: какое-то время он оставался на четвереньках, ладони и колени в песке. И, прежде чем вернуться в стойку, он обтер вспотевшее лицо; испачканной рукой провел он по лицу, и на нем остались смешные и непривлекательные пятна. Ошметки грязи покрывали его колени, бедра и грудь, одна нога была словно в наколеннике из песка. Он весь был точно в лохмотьях.

Сердечный союз, который заключили с ним зрители, был нарушен. Первыми отступились тарентцы. Имея перед собой двух атлетов из Тарента, они остановились на том, кто обещал им большую вероятность победы. Когда они криками стали подбадривать Иккоса, никто вначале не поддержал их. И все еще там и сям вспыхивало имя Социона. Но это уже не были крылья, способные поднять высоко в воздух. Они трепетали все ненадежней, все слабей.

Социон за короткое послеполуденное время приобрел опыт долгой жизни. Мир, которого он не знал и не принимал в расчет, соблазнил его, насытил блаженством своего восхищения, дал почувствовать всю прелесть своей приязни и одобрения, и, когда ему уже казалось, что нет горшего несчастья, чем очутиться вне его круга, за чертой его горизонта, — мир вдруг отвернулся от него, и Социон остался один, чтобы за какую-нибудь минуту, долгую как годы, испытать до дна горькую науку одиночества.

И тут в его смятенной душе возник образ Содама, которого он недавно держал в жестком захвате: волосы растрепаны, взмокшее, воспаленное лицо с бледными пятнами отчаянных усилий, но в глазах отсвечивает невозмутимое спокойствие почитателя Геракла.

Картина мгновенна, как вспышка молнии, и столь же ослепительна. Социон, которому борьба не остав-

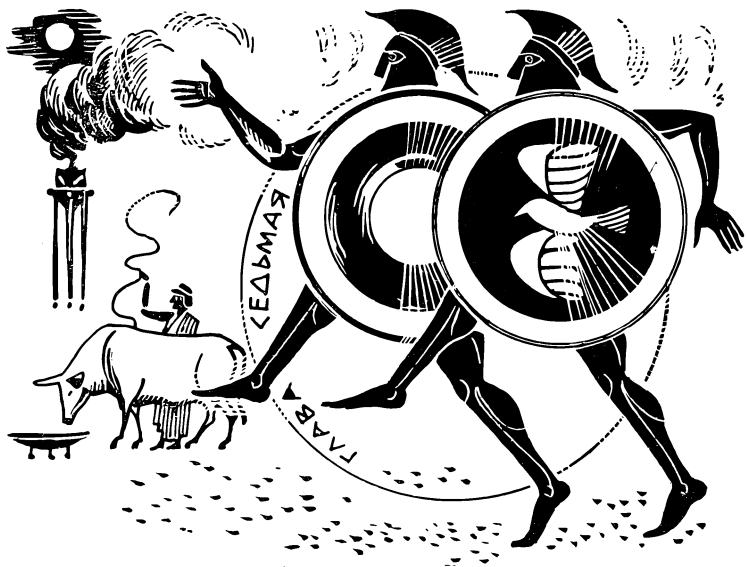
ляет ни единой мысли, отнимает буквально всякое сознание, вдруг инстинктивно начинает понимать весь смысл этого видения и, будто на зов вещего сна, пробуждается в улыбке. Он снова прежний, страстный атлет и радостный жрец прекрасной литургии тела.

Но его жертвоприношению приходит конец. Утомленный своим подвижным утром, расточительством сил в состязаниях, схваткой с Содамом, он не может выстоять перед расчетливым своим противником. Иккос живет тем, что сберег в течение дня и что выражается в следующем подсчете: легкая тренировка на рассвете; массаж; предобеденный сон в смолистой тени на склоне Крониона. Затем еще мелкие крохи, бережно собранные во время состязаний, крупницы энергии, не растраченной на излишние движения. Наконец, схватка с Эвтелидом, легкая и короткая, позволившая еще осмотреться и отдохнуть.

Все это вместе — огромное сейчас богатство по сравнению с Соционом, у которого ничего уже нет.

В последний раз бросается он в бой, протягивает руки, чтобы схватить Иккоса, но тот обхватывает его поперек, сдавливает захватом, и руки, все еще вытянутые, как бы поддерживают невидимую амфору, и Социон, задохнувшись, с улыбкой, что словно улечивается как дух с побелевшего лица, сам возносится вверх, точно собирается испить дрожащими губами последнее вино расточительного своего, разгульного пира; и вот уже под ногами не чувствует земли. Иккос выбивает землю у него из-под ног, отбирает у него землю, и Социон падает, как нищий, лишенный очага и крова, на пороге ростовщика, и последние лучи солнца сыплют ему свое бесполезное золото.





ПРАЗДНИК ПОЛНОЛУНИЯ

Греческий день считался от вечера до вечера. С окончанием пентатлона завершился четырнадцатый день месяца парфения, и новый день рождался в янтарном закате.

Наступил праздник — праздник полнолуния. Некогда этот единственный оборот Земли вокруг своей оси умещал в пределах своего света и тьмы все торжества, все жертвоприношения и игры. Но игры разрастались, все увеличивающееся число участников не могло уместиться в одном дне, который в итоге лопнул и, наподобие расколовшегося солнца, окружил себя четырьмя планетами. Этот день тем не менее остался не только центром, но и смыслом игр. Благодаря ему, благодаря его содержанию, наполненному богослужением и жертвенным дымом, игры приобретали значимость и сами становились частью культа; стадион вел к алтарю Зевса, как дорога паломников.

Этот день состоял из двух частей: темной и светлой. Вторая начнется с рассветом — это пора Зевса и

других небесных богов, а в сумерках в права вступают духи, демоны и подземные божества.

Первыми вышли приносящие жертву Пелопсу. На могиле героя они разожгли огонь и закололи черного барана. Ксилевс, дровосек Священной рощи, вырезал часть мяса с заливкой и отложил в сторону. Это было его право, необычное право, поскольку никому нельзя ни касаться, ни есть мяса животных, назначенных в жертву подземным божествам. Их кровь принадлежит земле, в которой живут души, — и кровь черного барана стекла в дыру, ведущую внутрь могилы. Мясо, кости и шкуру должен пожрать бессмертный огонь — и черный баран горел на алтаре, в огонь все время подбрасывали новые поленья, пока все не обратилось в уголь и пепел.

Продолжалось это долго: уже луна вышла из-за гор Трифиллии, а приносящие жертву все ждали, вглядываясь в огонь. Наконец, один из них стал звать к Пелопсу. Он призывал его душу, насытившуюся свежей кровью, и говорил ей об Олимпии, где герой царствовал когда-то; он приглашал его на игры.

А в это же время члены рода Иамидов, олимпийских прорицателей, собрались в маленькой округлой святыньке, стоявшей за пределами Священной рощи. Святынька была пуста и темна. Они принесли с собой факелы, густой смоляной дым которых клубился под деревянными стропилами крыши. У южной стены находился низкий алтарь — обыкновенный камень, прямоугольно обтесанный. Старший из Иамидов зажег на нем кучку хвороста своим факелом и всыпал в огонь благовония. «Иам! Иам!» — зывали олимпийские ворожбиты к своему предку, сыну Аполлона. Пели гимн.

Тесное помещение святыньки наполнялось дымом алтаря и факелов, воздух был спертый и едкий. Люди задыхались и кашляли, на глазах выступали слезы. Прекрасные старые стихи гимна увядали в их сдавленных голосах, увядали в них фиалки, о которых говорилось в гимне, надречные фиалки, среди которых девица Эвадна положила своего младенца. Вся жизнь Иама, сотканная из солнечных лучей и цветов, крошилась и распадалась, как сухой стебель, в бормотанье этих голосов. От всего, чем некогда был этот сын бога, остались, в конце концов, лишь пепел и

дым, факелы погасли, округлая святынька выглядела гробницей, в ней царил мрак, мрак смерти, которой не избежать даже богам.

Точно так же в этот вечер, наполненный светом луны, рядом со сверкающим огнями и шумевшим лагерем хлопотали те, кто приносил жертвы умершим полубогам на могиле Эндимиона, у подножия холма Кроноса и на гробе Эномая за Кладеем, а оттуда шли под Гарпину, где в общем кургане покоились женихи Гипподамии. Их было тринадцать, и призывали их в том порядке, в каком погибли они от копья царя Писы: Мергнос, Гиппофой, Пелопс из Опунта, Акарнан, Эвримах, Эврилох, Автомедон, Ласий, Халкон, Фрикорон, Алкафой, Аристомах, Крокалос. Другие же на границе Гераи вызывали из гроба Коробия, первого победителя в олимпийских играх. А в далекой Элиде жрицы, обступив кенотаф Ахилла, плакали и били себя в грудь, будто он только что умер, а потом громким, веселым криком приглашали его на игры, где он обязан быть — он, вечный ровесник атлетов.

В ту ночь мало кто спал в лагере. Слишком много было дел перед утренними жертвоприношениями. Люди мылись, расчесывались, завивали волосы и бороды; рабы бегали за водой, отбеливали и разглаживали хитоны и хламиды, сплетали венки; присматривали за жертвенными животными; совещались об участии в процессиях; вдруг оказывалось, что нет какого-нибудь предмета, — ломились в запертые лавки, искали перекупщиков по палаткам. Огромная луна освещала всю эту суету и своим движением обозначала время уплывающей ночи.

Перед рассветом погасли костры, палатки начали затихать, между стеной Альтиса и Кладеем зароились толпы людей, чьи белые одежды сливались с утренним туманом над долиной. Народу прибывало все больше, в полумраке гудел густой говор толпы, однако постепенно бесформенная масса уплотнялась и вытягивалась, будто ее формировали невидимые руки.

Это члены Олимпийского Совета назначали места делегациям государств. Их охрипшие голоса боролись с людской раздражительностью, которая каждый раз заливала их половодьем крика. Колонны, составленные с таким трудом, снова распадались, и казалось,

что этому не будет конца. Но из рядов, уже готовых в путь, стали выкрикивать: «Рассвет! Рассвет!», и это магическое слово, предвещающее лучшую пору дня, всех разом утихомирило. Процессия двинулась под светлеющим небом, спокойно и слаженно, словно из тьмы, из туманного хаоса восстал новый род людской.

Вытянувшись вдоль западной стены Альтиса, колонна остановилась, поскольку Олимпийский Совет, шедший впереди, столкнулся с коллегией элланодиков. Этот пурпурный скреп срастил белую колонну делегаций государств с такой же белой процессией жрецов, ожидавших под пританеом. Теперь они возглавляли весь поход, двигавшийся по дороге процессий, которая тянулась от храма Геры до могилы Пелопса.

В первом ряду шли три феокола — верховных жреца олимпийского культа; за ними шли спондофоры с длинными жезлами боговых гонцов и с золотыми фиалами. Кафемерофит — жрец, ежедневно совершающий жертвоприношения на алтаре Зевса, — несмотря на то что сегодня доверил свои функции одному из феоколов, тоже шел, чтобы проследить за правильным исполнением обряда. Его сопровождали два экзегета — наставники ритуала, каждый со своим папирусом, содержащим обрядовые предписания. Но их седые головы помнили больше, чем папирусы: они хранили бесчисленные традиции всех поколений, начиная от времен, когда Зевс утвердил свою власть над Олимпией.

Но это еще была молодежь в сравнении с тем, что являли собой идущие за ними басилеи. Как и их бог Кронос, который вырастал из пучины мира, едва рожденного и мятущегося еще в своем первом брожении, сам скрытый во мраке, в вечной ночи, так и они принадлежали к столь же давней и темной эпохе, когда века наподобие гор, формирующихся в спазмах земли, громоздились и рушились в сером сумраке под кровавой полосой рассвета. В то время по греческой земле проходили кочующие племена, и неведомая волна принесла этого бога и утвердила его на холме, и ему поклонялись человеческой кровью в пору весеннего равноденствия. Басилеи были теперь лишь отголоском древнейшего культа. Отстраненные вместе со своим

богом, его наследники шли в процессии бездеятельные и покорные, как потомки завоеванного народа.

В следующих рядах двигались олимпийские прорицатели, клейдухи, надзирающие за храмом и сокровищницами, ксилевс, спондавы с флейтами и несколько помощников жрецов, людей большого роста и силы, с топорами для убоя животных. Жреческие служки несли корзины с жертвенными принадлежностями, медные котлы, воду в узких гидриях. В самом хвосте вели животных — быков и баранов — белых, без единого пятнышка. Это была гекатомба элейцев, несколько десятков голов, выбранных из всех стад страны. С вызолоченными рогами, в гирляндах из цветов и листьев, они шли спокойно и сонно, одурманенные маковым отваром, который им подмешали в корм.

Процессия жрецов остановилась перед алтарем, элланоидики из Олимпийского Совета уселись на ступенях террасы. Между алтарем и террасой был свободный проход для делегаций государств.

Каждую вел архитеор с проксеном, в окружении высоких сановников и знаменитых граждан; среди афинян был Фемистокл, у спартанцев — эфоры; повсюду виднелись мужи и мальчики с повязкой на голове: это были победители в Олимпии, Дельфах, Немее, Истмиях — краса и гордость процессии. Каждое государство старалось показать их как можно в большем количестве, были среди них даже дряхлые старики, которые в давно минувшие времена отличились на стадионе. Свежие венки, награды этого года, придавали великолепию делегациям Хиоса, Локр, Эгины; Иккос шел во главе Тарента с горделивостью вельможи.

И та же самая жажда соперничества отяготила делегации множеством литургической утвари, золотых и серебряных сосудов, которые должны были показать богатство их страны. В сотнях рук бесконечно повторялись жбаны, кратеры, чаши, кадьильницы, курившиеся благовониями. Некоторые группы были так нагружены, точно возвращались с раздела военной добычи. То были представители государств, имевших в Олимпии собственные сокровищницы. Они взяли оттуда все, что скопили их предки: золотые венцы, роги изобилия, реликвии героев, сундуки и шкатулки,

статуэтки богов и, наконец, предметы, не имевшие названия и назначения, — окаменелости чужого быта. Все эти вещи несли как эмблемы родины, чтобы иметь ее при себе, живую и осязаемую, чтобы через эту зримую ниточку чувствовать связь со своим клочком земли и не потонуть в этом белом половодье непрерывно прибывающих со стороны дороги процессий.

Шествие тянулось без конца. Шло неисчислимое множество государств и колоний, и если здесь были еще не все, то это значило, что отсутствуют они из-за крайней отдаленности расстояния либо из-за своей затерянности в недоступных горах, среди варварских обычаев. Тем разительней было отсутствие Фессалии, союзницы персов, почти физически ощущалась пустота в том месте, где обычно между Спартой и Сиракузами двигались гордые цари из рода Алевадов, всегда ведя за собой полную гекатомбу в сто быков. Не было также Фив, но их место в виде особой привилегии занял Пиндар; он шел один, слуга вел за ним двух баранов.

Процессии проходили мимо алтаря и выстраивались на стадионе. Жрецы выжидали, пока не соберутся все, часто поглядывая на небо, которое на востоке горело расплавленным золотом. Скромный холм Писы не мог надолго задержать солнца. Оно вырвалось из-за него внезапно, ослепительное и прекрасное, и по всей толпе пронеслись переливы отблесков, засверкали все золотые сосуды, вся полированная бронза, диадемы князей, золотые нити узоров на плащах архитеоров. Один из членов Олимпийского Совета встал и движением руки удержал вновь подходивших.

Это были уже не делегации государств, а отдельные пилигримы, с которыми никто не считался. Они остановились на дороге процессий, среди навоза и растоптанных цветов, которые оставило после себя шествие. И среди них тоже существовали степени и ранги, и беднейшие оказались в самом конце, за стеной Альтиса. У них зачастую даже не было жертвенных животных, а взамен этого — фигурки из теста или воска, изображавшие быков и баранов. Счастливые хотя бы тем, что не оскорбляют бога зрелищем своей нищеты, они усаживались на землю и тихо, терпеливо перешептывались.

Тем временем жрецы приблизились к алтарю.

Это был высокий усеченный конус землисто-серого цвета. Если не брать в расчет ограждения, что опоясывало его подножие большим эллипсом, на его возведение не пошло ни единого камня. Он вырос из не убиравшихся веками обугленных жертвенных останков и пепла, который выгребался из костра Гестии в пританее. Каждый год в Олений месяц — элафий олимпийские прорицатели собирали этот пепел, смешивали с водой и образовавшейся липкой массой обмазывали склоны насыпи. Вода из Алфея, насыщенная известью и мелом, придавала ей прочность, помогая выстоять под зимними дождями. Холм приобрел такую крепость, что ступени, высеченные в его боках, были тверды как камень.

Они вели на террасу, которая, окружая конус, делила его на две неравные части; верхняя была меньше и возвышалась над террасой бесформенной осыпью. Жрецы и прорицатели взошли на террасу, а жреческие подручные и прислуга ждали с животными у подножия алтаря. Дровосек Священной рощи уложил на вершине поленья для костра, обрубленные по ритуальной мерке, а феокол бросил в середину пылавшую головню, взятую от огня Гестии. Древесина белого тополя противилась огню, и ксилевс раздувал его особым веером.

Феокол, повернувшись к собравшимся, воскликнул:

— Внемлите!

Словом, призывающим к сосредоточенности и тишине, начиналось богослужение. Спондавлы заиграли на флейтах, чтобы заглушить всякий земной звук. Один из прислуги поднял обеими руками котел и понес его вокруг алтаря, начиная справа. Вернувшись к исходной точке, он взошел на террасу. Феокол достал головню из костра и погрузил ее в котел. Вода с шипением приняла огненный поцелуй. Жрецы поочередно увлажняли руки этой водой, которую освящал бессмертный огонь. Другой служка подал феоколу на серебряном подносе зерна ячменя, распаренные с солью.

— Все ли здесь люди преданы богу? — спросил верховный жрец.

Спондавлы перестали играть, чтобы каждый мог

расслышать вопрос; все отвечали: «Да! Воистину! Всей душой!» — или же кратко клялись именами богов, и какое-то время толпа шумела этими голосами. Когда они отзвучали, жрец бросил несколько пригоршней ячменя в ряды собравшихся и воскликнул:

— Помолимся!

Снова зазвучали флейты, и к алтарю подвели первого быка. Феокол спустился с террасы, посыпал ему голову ячменем и золотыми ножничками обрезал клочок шерсти на лбу, посвящая его в жертву, после чего вернулся наверх и бросил шерсть в огонь.

Раздался глухой рык и грохот падающего тела, а потом хрипы — бык полег под топором. Затем ему перерезали горло, и полный кубок свежей крови пошел по рукам спондифоров наверх, где ею окропили край костра. Подручные жрецов с невероятной быстротой управились с тушей быка. Они его освежевали, рассекли на части, вырезали тук и отрубили ляжки. Голяшки покрыли туком, завернули в шкуру и отнесли феоколу. Жрец с жертвой в руке повернулся к толпе:

— Помолимся!

После этого, сложив жертвенное мясо на пылающие поленья, он начал:

— Отче Зевс! Ты, кто господствуешь над Олимпией! — сказал он, воздев руки к небу. И хотя внизу не слышно было его слов из-за расстояния и треска огня, из-за музыки флейт, каждый мог повторить их в душе: сперва длинный перечень эпитетов величайшего бога, потом просьба, чтобы он принял эту жертву от элейцев и ниспослал им свою опеку, им, и их земле, и всем творениям, которые являются ее добром и достатком, и оградил их от всяческого зла, войны, мора, огня, и позволил старикам как можно дольше тешиться светом солнца в процветающем доме, среди детей и внуков.

Молитва включала все, чего может хотеть человек от жизни, все ее блага и прелести, и каждый мог присоединиться к ней своим личным пожеланием: в общем бормотанье можно было услышать просьбу о здравии, об олимпийском венке — словом, все, вплоть до пустячных предметов, скрытых в закоулках хозяйства.

Молились только элейцы. Никто не имел права

вмешиваться в их жертву и в их беседу с богом. Придет время и для прочих, когда они предстанут перед алтарем. Внезапно умолкли флейты, и феокол кончил молитву неожиданным образом:

— И отдали от нас борьбу и смуту, чтобы мы чтити тебя именем Господина Мира и Избавителя. Победи в нас зависть и подозрительность, из которых родится распря. Объедини всех эллинов, напои их вином дружелюбия, обрати их сердца к доброте и снисходительности.

Эти слова были проникновенны и понятны. Казалось, что это говорит сама греческая земля, сама родная почва, перепаханная персидской войной, которая впервые породила братство по оружию между племенами. Нигде эти слова не были более уместны, чем здесь, откуда каждые четыре года исходил призыв ко всеобщему примирению, где сама мысль о войне была преступной и где на короткие несколько дней люди могли жить в мире без препон и границ.

Многие подняли руки, присоединяясь к этой молитве. Однако некоторые, изумленные ее необычностью, поглядывали на экзегетов, опасаясь, что это не согласуется с ритуалом. Но лица экзегетов были спокойны. Слова феокола не были для них новостью. В олимпийской традиции они повторялись множество раз, их слышали в самые разные времена над этим алтарем, чей пепел был устойчивей людских надежд.

Старый Иамид не спускал глаз со сгоравшей жертвы. Яркость пламени, его сила, запах паленой шкуры и мяса, сам дым со всеми его видоизменениями, когда он вился, сворачивался клубами, поднимался вверх столбом,— каждую эту подробность он изучал и взвешивал, силясь отгадать по этим знакам волю бога. Знаки были благоприятны.

— Зевс принял жертву,— сказал он,— на счастье и благо народа и земли элейской.

А внизу уже забивали новый скот, и каждый раз шли наверх кубки, полные крови, и голяшки, накрытые жиром. Спондавы играли, не отнимая флейт от губ, жрецы распевали гимны. Рабы оттаскивали убитых животных и относили на кухню в пританею. Паломники, стоящие под храмом Геры, сторонились, чтобы дать им дорогу. Считали животных: их было шестьдесят.

После гекатомбы элейцев начались жертвоприношения государств и колоний всего греческого мира. Поочередно, в том порядке, в каком пришли и построились на стадионе, процессии приближались к алтарю, и во главе каждой из них шли архитеор с проксеном. Проксеном обязательно был гражданин Элиды, которого данное государство выбрало своим представителем перед лицом местных божеств. Потому что Зевс, царящий в Олимпии, хотя и был, как верили, тем самым богом, которого чтит целый свет, вместе с тем являлся только богом Олимпии — конкретного места на элейской земле, — и никто посторонний не имел на него права. Таким образом проксен превращался в посредника между богом своей земли и жертвоприношением тех, которые к нему зывали.

Стоя перед алтарем, он возлагал руку на плечо архитеора, олицетворяющего целую страну и весь народ Афин, Спарты или Сиракуз, представлял его и поручал вниманию своего божества. Лишь после этого архитеор затягивал гимн и давал знак своим людям подводить животных. Он сам отрезал у них клочок шерсти со лба, сам разбрасывал пригоршни ячменя, но феокол принимал от него жертвенное мясо и клал его в огонь. Старый Иамид всякий раз всматривался в пламя и оделял прорицаниями города, острова, архипелаги и далекие побережья, процессии которых потоком двигались к алтарю.

Ксилевс трудился в поте лица, поддерживая огонь новыми охапками поленьев. Рабы то и дело приносили свежий запас дров со складов, а ксилевс отмерял для каждой процессии количество топлива и брал плату; рядом с ним стоял объемистый сосуд из бронзы, уже наполовину наполненный монетами. Часть их пойдет в олимпийскую казну, но и того, что останется, ему хватит на покупку поля, виноградника и дома. Делегации также делали взносы на саму Олимпию — под алтарем уже громоздилась куча денег, за которой надзирал эпимелет. Гиерон же, совершив жертвоприношение, велел снять золотые пластины, которыми были окованы рога быков, и бросил их вместо монет. После этого каждый, подходя к алтарю, клал перед эпимелетом какую-нибудь драгоценную безделушку: пряжку, кубок, перстень, наплечник; Ге-

рен, который предводительствовал процессией из Навкратиса, пожертвовал красивый котел на треноге, окованный золотой бляхой, весь в чеканке, на которой можно было видеть изображение восточной богини с большими крыльями меж двух львов.

День близился к полудню. Уже были забиты целые стада быков и баранов, вокруг алтаря разливались большие лужи крови. И сам алтарь был весь в крови, ступени, ведущие на террасу, стали красными и скользкими. Дорога между статуями победителей, по которой носили мясо в обоз, пылала от ярких пятен. Кровавые испарения висели над Олимпией, воздух, насыщенный запахом крови, привлек стервятников, парящих плавными кругами.

Три феокола непрерывно сменяли друг друга, иногда их подменял кафемерофит, все были измучены до предела. Спондавы отнимали флейты от синих, твердых, как дерево, губ, и когда никто не играл, не пел и не молился, в наступавшей тишине слышался лишь треск огня да шипение стекавшего на раскаленные угли жира. Иногда языки пламени съезживались, придушенные клубами тяжелого дыма, который немилосердно ел глаза.

На террасе было нестерпимо жарко, ни малейшего ветерка, весь мир был объят огнем неумолимого августовского зноя. Жрецы в одеяниях, испятнанных кровью, с лицами, почерневшими от копоти, с горящими глазами, в окружении четвертователей жертв, будто выкупанных в крови, выглядели служителями ада. Один лишь старейшина рода Иамидов, благородный старец, символ извечного, стоял свежий и спокойный, зной не изменил его красивых черт, и он не позволял никому заместить себя, продолжая неутомимо вглядываться в огонь и во внутренности жертвенных животных, и когда он поворачивался, чтобы объявить свои прорицания, людям открывался чистый взгляд его голубых глаз.

Наконец, стадион обезлюдел, процессии, совершив жертвоприношения, вернулись в лагерь, пришел черед простых паломников. Но когда они двинулись от Герайона, жрецы стали покидать алтарь. Остались лишь кафемерофит и ксилевс, который поднял цену на дрова. Возникали ссоры, препирательства и торги. Некоторые нанимали элейских граждан в личные про-

ксены, платные флейтисты требовали по два оболы с жертвы. Экзегеты кричали, что нужно торопиться, потому что Зевс не принимает молитв после полудня. Поэтому обряды сокращались, и животные шли под нож с такой же быстротой, как на бойнях.

Многие, не имея сил протиснуться, искали другие алтари. Их повсюду было достаточно, при каждом имелся жрец, который жестами зазывал паломников. За обол он разводил костерок из сухих веток и сам был за посредника между божеством и пришельцем; он делал свое дело добросовестно, позволял вдоволь молиться, сам даже присоединялся к молебну, а иногда пел строфу-другую гимна, чьи старые полупонятные слова казались позаимствованными из речи богов. Чаще всего ограничивались только благовониями и парой кубков вина, но некоторые клали в огонь восковую фигурку животного, любимого божеством; для Аполлона были пряники в форме лука и лиры; Гераклу подносили большие огурцы с воткнутыми в них палочками, напоминавшими ноги, рога и уши зверя.

Вся Олимпия пылала и дымилась, повсюду можно было видеть воздетые руки, слышать громкие молитвы. Но едва солнце миновало зенит, как жрецы покинули алтари, и толпа стала редеть. Священная роща осталась во всем ее безобразном запустении. Дым, гарь, запах паленого смешивались с вонью разлагающейся крови, брошенных клочьев мяса, кишок, требухи и куч навоза. В воздухе носились хлопья сажи и пепла, кое-где даже деревья, стоявшие слишком близко, были обуглены. Но уже служители сгоняли рабов с граблями, лопатами и тачками; прибыло несколько возов с песком; губками обмывали алтари. Стервятники успели урвать кое-что из отбросов и улетели за холмы. Легкий предвечерний ветерок расчистил небо.

В освеженном воздухе повеяло новыми запахами: жареного мяса, оливкового масла, кореньев. Они исходили все обильнее от тысяч вертелов и котлов над смолистыми дымками костров. Люди, проголодавшись с рассвета, пожирали глазами все то, что жарится на рожне, варится в бронзовых горшках, все эти проклятые куски мяса, которые никак не желают изжариться и никак не закипят. Подбрасывали в огонь поленья, охапки хвороста, целые сосновые лапы, всякую деревяшку, что попадает под руки, готовые сжечь

даже палатки и повозки. Небо занялось и пылает грандиозным пожаром.

Наконец вынимаются из огня вертелы, снимаются крышки с котлов, из земляных печей разносится дух свежего хлеба, такой откровенный и манящий, что и у богов слюнки потекут. На досках, положенных на камни, на первых попавшихся ящиках, на облучках повозок и прямо на матушке-земле дымятся миски, круглые и щедрые, как мир. В расписных кувшинах ярится золотое вино. В глиняных сосудах дышит каплями росы пречистая вода.

Насытив своих богов, человек подсаживается к их столу. Он ест то же, что и они, пьет из тех же кубков, которые еще не просохли от прикосновения их губ. Поедая жертвенное мясо, он приобщается к божеству, утверждает свою общность с небесным племенем, чье семя вместе со всем прочим семенем почивало некогда на дне Хаоса. В нем самом кружит вселенная. С каждым куском он поглощает источники, облака, солнце, землю, оплодотворенную семенами, из костей он высасывает ветры, шумящие в травах, на зубах его хрустят четыре времени года, по артериям пробегает весь цикл бытия, непознаваемая тайна превращений, извечный путь вверх и вниз от мертвой к живой природе, и его желудок переваривает атомы, в момент зарождения которых взрывались звезды в круговерти времен.

Костры, избавленные от вертелов и треног, с треском разгрызают благовония и стреляют дурманящим дымом. Люди встают красные от их огня и от внутреннего жара. Смеются, выкрикивают: «Тенелла! Тенелла!» — и рефрен старой песни Архилоха, песни олимпийских победителей преобразовывает беспорядочные крики в мелодическую строфу. Из шатра Гиерона в полосу тишины, которая его окружает, пробивается голос Пиндара: победная ода разворачивается в своей павлиньей пышности, серебристое журчание кифары сочится как родник, бьющий из-под звездного куста, по небу странствует луна — чаша, наполненная нектаром ночи.

Рассвет распевелил лагерь, выгнал людей на стадион, но не разбудил их. Ночь мяса и вина притупила чувства. Появление атлетов, голос глашатая, первые забеги — все это происходило в утреннем тумане;

души были полураскрыты, как оконницы перед утром. Скамандр из Метилены победил в полной тишине и ушел с венком, одинокий и недоумевающий, что труд нескольких лет и колоссальные расстояния, которые он пробежал, тренируя ноги, уложились в два-три вдоха в столь короткую и глухую минуту.

Лишь во время следующих забегов мир ожил. Солнце вышло из-за холма Писы. Посветлевший стадион играл тенями бегунов. Сейчас проходил диавлос, двойной бег, — от старта к мете и обратно. Разделенные на две шестерки, атлеты промчались быстро, и так же быстро прошло единоборство победивших. Венок завоевал Дандис из Аргоса. Его имя ударило в небо, как в колокол.

Объявили долихос — длинный бег на двадцать чetyре стадия.

Бегунов было семеро, сплошь молодые люди. Старшему, Тимодему из Ахарн, было двадцать восемь лет. Их тела, каждое по-своему ладное и красивое, совокупно представляли собой поразительное собрание различных начал — будто дух бега в поисках совершенной формы взвешивал и сравнивал массы и плоскости, прикидывал рост, вычислял количество мускульного и костного вещества, пока не открыл этой стройной линии, этого легкого свода грудной клетки, этих скупых бедер, этих сухощавых ног с растянутым шагом, которыми одарил двух-трех из них. Но в самом ли деле в них обитает этот своенравный дух, который так часто пренебрегает великолепными человеческими творениями и поселяется в скромных телах, скрытый где-то в глубинах сердца, на дне легких, во влажных протоках крови и лимфы?

Нынешний бег на длинную дистанцию, представляющую замкнутый эллипс, выглядит совсем не так, как греческий долихос, который не знал кружения. Атлеты, расставленные по всей ширине стадиона, бежали по параллельным прямым, на изрядном расстоянии друг от друга. Добежав до конца дорожки, обозначенного чертой, они поворачивали и мчались назад по тому же пути. За каждым разом Капр выпарывал на глиняной табличке риску, отсчитывая стадии, как отмеривают локти материи.

Гладкую поверхность пробороздили семь полос, протоптанных бегунами. Протянувшиеся от линии

старта до линии меты, они придавали беговому полю вид семиструнной лиры. Молодые нагие тела пролетали по ним со скоростью звуковой волны. Ими двигал ритм, пульсирующий дружным топотом, который сопровождался шуршанием песка. Это была прекраснейшая часть бега — его первые стадии, ровные и благородные, когда каждый еще свеж, каждый окрылен надеждой, когда все заканчивают стадий одновременно и поворачивают для нового полета, на миг задерживаясь на черте, слегка подавшиеся вперед, будто собираются прыгнуть в реку, — и действительно какое-то бодрящее дуновение обвеивает толпу, беговая полоса представляется озером или солнечным заливом, который бороздят семь узких лодок под мерный плеск весел.

Но благодное состояние равновесия и покоя длилось недолго. В какой-то момент линия бега заколебалась и выгнулась, то один, то другой участник начал терять на каждом стадии частицу пространства, на долю мгновения позже добегая до черты, — и эти крохи накапливались, росли и все больше его отдаляли.

Семерка распалась, и беговая полоса превратилась в поле игры, невероятной игры, где пешки сохраняют свое расположение, не прекращая двигаться, а игроки сидят на холме многотысячной толпой и криком пытаются управлять своими пешками, которые ускользают из-под их власти. Громче всех кричат остров Самос и Посейдония, огорченные видом своих атлетов, которые после шестого стадия стали отставать.

Существовало два очага высокой и неугасавшей скорости: на первой полосе, где бежал Эргофил, и на седьмой, которую занимал спартанец Ладас. Они сразу взяли высокий темп, который сделал бы честь и бегуну на короткую дистанцию, и навязали его всем остальным. Никто не мог его долго выдерживать. Вслед за самосцем и посейдонцем вскоре отстали еще двое, чтобы продолжать вспахивать свою полосу с терпеливыми и безнадежными потугами.

Один лишь Тимодем не уступал. Занимая четвертую дорожку, в самой середине беговой полосы, он колебался между Ладасом и Эргофилом, как стрелка весов. Он был, конечно, молодцом, и вся Аттика выражала ему поддержку. Но то, как он ею пользовал-

ся, показывало, что душа Тимодема не соответствовала его телу. Ибо тело его было суровое, слишком суровое для бегуна, способное на трудную борьбу; оно и панкратий выдержало бы с такой крепкой мускулатурой. А душу имел он легковесную и тщеславную. Каждый крик возбуждал его, распалял, и преимущество в несколько шагов, когда он выдвинулся во главу тройки и разжег этим энтузиазм зрителей, лишило его остатков рассудительности. Он выпивал себя глубокими глотками, будто ближайший стадион был последним.

Однако миновала лишь середина бега. Зрители притихли в ожидании дальнейших событий. Тимодем ощутил эту тишину пронзительным холодом в сердце и с вершины скорости, на которую он вскарабкался, вдруг почуял дыхание огромного пространства, и бездна оставшихся десяти стадиев отозвалась в нем сосущей пустотой. По инерции он неслся еще некоторое время очертя голову, но уже сумерки нависли над ним. Эргофил и Ладас снова обошли его.

Пока продолжались дерзновенные усилия Тимодема, два бегуна двигались спокойно, бесстрастно, не позволяя увлечь себя чужой воле, не сбавляя собственной скорости. Оба бежали все тем же шагом, согнув руки в локтях, выпятив грудь, высоко подняв голову, точно засмотревшись на какую-то цель, которая, казалось, находилась где-то далеко за стадионом.

Они походили на двух гонцов, на неких гемеродромов, которых правительство, армия или народ отрядили в далекий путь с тайной миссией, не дав им никаких письменных посланий. Нагие и беззащитные, они находят покровительство в божественном праве, за ними стоит Зевс, покровитель гонцов, и Гермес, который и сам является гонцом. Ровным дыханием они прокладывают себе путь через поля, виноградники, болота и леса, минуют города и веси, и люди расступаются, не смея их задерживать, а солнце провожает их до горных ущелий, и там они остаются уже в одиночестве среди неведомой ночи, чтобы на рассвете сбежать в долины и донести свое послание куда следует, пусть даже придется его выхрипеть на последнем издыхании.

Они — это крылья мира. Ибо мир, медленный, тихий мир V века, влечется в неторопливых колеях те-

лег, запряженных волами; конь, осел и мул служат ему по мере своих возможностей, но им всегда может преградить путь чаща леса, затаившаяся трясина, обрывистая пропасть — много такого, что только человеку под силу преодолеть. Площадки палестр и гимнасиев воспитывают благородную породу гонцов, непревзойденных пожирателей пространств, а игры позволяют их выявить, чтобы все могли отыскать их когда-нибудь в неожиданный день, в годину нового Марафона.

Именно такими представлялись своему миру Эргофил и Ладас, оба равные и совершенные. Другие были похуже, но лишь по сравнению с ними. А двое и вовсе не входили ни в какое сравнение. Отстав на целый стадий, они бежали сейчас в противоположном направлении, будто дух игр повернулся к ним спиной. Тимодем отстал на сотню стоп и уже не мог наверстать упущенного. Его окружал густеющий воздух, он продирался сквозь него с туманом в глазах, с губами, солеными от пота, который заливал ему лицо. Иногда его имя еще срывалось с чьих-то губ, но долетало до него издали, приглушенное шумом крови в висках, будто и оно, магическая частица человека, собиралось покинуть его в последние эти минуты.

Приближался конец бега. Зрители вскочили, не в силах усидеть от волнения. Спарта стала скандировать имя своего атлета. Вместе со Спартой кричала вся Лакония, все вассальные города, половина дорийских племен.

— Ладас! Ладас! Ладас!

Нечеловеческий рев, сосредоточенный в двух кратких слогах, ударял по стадиону как молот...

Эргофил телом чувствовал эти удары. Они крушили мир, солнце разлеталось в куски и жгло глаза снопами искр. Ноги мертвели, не находя опоры на земле, которая отрекалась от него. Страшное одиночество пронзило его до мозга костей. Оторванный от своих критских предков, не связанный кровно с новой отчизной (Гимерой), он по-прежнему принадлежал только самому себе, и больше никто не имел на него прав. Крики, подстегивавшие Ладаса, выражали священное право рода, края, общины, земли, где покоится прах умерших, право на его мышцы, на пульс его

сердца, на каждый его вздох; Эргофил был лишен земли, как душа непогребенного тела, он был призраком, обреченным на жалкие и унылые скитания. Он ощутил себя никому не нужным.

Он бежал безразлично и безвольно, буря криков несла его в бескрайнюю пустоту. Добежав до черты, он сделал еще несколько шагов дальше, будто собирался убежать совсем. В эту минуту резкий звук труб объявил последний стадий. Эргофил повернул и снова впал в свою колею.

Чудом, как это бывает с истинными атлетами, он вдруг проникся спокойной ясностью. Это было спокойствие человека, которого выбросили за борт и вели идти пешком по бурным волнам и который вдруг почувствовал, что он идет на самом деле и вода не раздается под ним. Мир по-прежнему шумел и выл, будто все вихри собрались, чтобы сдуть его с поверхности земли, но он бежал в своей борозде, как упрямый язычок пламени по намащенной веревке.

Ладас одержал победу. Те несколько шагов преимущества, которые он получил, когда растерянный Эргофил забежал за черту, были его единственной добычей.

— Если бы ты захотел, венок был бы твой, — сказал спартанец, когда они остановились перед алтарем Зевса.

Эргофил молча пожал ему руку.

Публика внезапно затихла, будто уснув. Несмотря на победу, бег продолжался. Олимпийский закон требовал, чтобы каждый, под страхом порки, выполнил взятую на себя работу. Пятеро атлетов еще скитались по беговой полосе. Они упрямо бежали к цели, которая всем уже была безразлична, благородные в своем усилии, безукоризненные в позе и движениях, исполненные красоты, на которую никто не обращал внимания. Когда последний из них кончил бег, половина присутствующих спартанцев давно покинула свои места, все они собрались вокруг Ладаса и, уже увенчанного, понесли в лагерь.

Закончилась первая часть дневной программы. Перерыва не было, на поле тут же вызвали борцов. Стадион сузился до малого круга борьбы, а вместе

с ним съежился и мир, осажденный все раскалявшимся солнцем. Эвримен сразу же так сжал своими длинными руками Патаика, что у зрителей даже дух перехватило.

Хламиды и хитоны жгли тело, люди сбрасывали их и сидели полуголые. Их мускулы вздрагивали. Каждое движение борцов возбуждало их кровь, звенело в жилах песней их собственной молодости. Когда на площадке кто-нибудь падал, весь холм тяжело вздыхал, будто всех угнетала одна и та же судьба.

Так пережили поражение Патаика, Эфармоста, Эвримена. Герен удивил их и ошеломил. Великан, покрытый густой черной шерстью, казался мифическим существом, одним из тех лесных людей, сторожей божьих стад, с которыми сражался Геракл. Не было противников ему под стать. Его победа была неотвратима и несправедлива, как стихийное бедствие.

Какой щедрый день! Выходят кулачные бойцы. Жребий, определяя пары, оставляет Эвтима на закуску, как рачительный хозяин, который после легкого вина подает флягу крепкого и выдержанного напитка.

Филон и Меналк стоят друг против друга, точно по обеим сторонам ткацкого станка, и прядут воздух легкими, обманными движениями. Они пытаются хитрить взглядом, который направляют не в то место, куда хочет ударить рука, вытянутыми ладонями они ощупывают пустоту, как слепцы. Быстрые ноги двигаются будто танцуют. Сжатые кулаки готовят удары, которые вдруг взрываются в пустоте.

Череп, глаза, нос, подбородок, уши — самые ценные органы человеческого естества — здесь поставлены вне закона, который в то же время охраняет шею, грудь и все остальное тело. С виду жесткий, олимпийский закон на самом деле превращает бой в драматическое состязание в ловкости. Мишень для ударов так мала, ее так легко прикрыть, что тысячи уловок не приводят ни к чему.

Зрители распаляются. Через минуту от них веет такой дикой страстью, что атлеты по сравнению с ними выглядят совершенно спокойными.

Давайте немного задержимся в этом месте.

Игры начались с рассветом, а сейчас полдень.

Целых восемь часов — по нашим меркам времени — длится этот спектакль, будоражащий и бурный.

Нет никаких перерывов, кроме тех, которые предусмотрены самим обрядом: представление атлетов, совещания судей, увенчание. Никто не покидает мест.

Люди забыли о еде, иногда лишь прополощут горло глотком воды; они переносят жару, будто сидят под балдахинами из страусовых перьев, точно какие-нибудь мушки-однодневки, у которых вся жизнь сосредоточилась в зрении, в функции восприятия и ощущения. Никак не насытятся, они с прежней свежестью приветствуют каждую новую пару атлетов, их души мечутся меж кулаков дерущихся, и очередной час августовского полудня они выпивают не обжегши глотки. Так и есть, все глотки крепки и громогласны, когда Эвтим, сын Астикла, добывает венки в кулачном бою.

Тут же без перерыва начинается панкратий, синтез бокса и борьбы, в котором все дозволено, в котором предусмотрена даже смерть, хотя такого никогда не случается, потому что два превосходных тела, вышколенных и умелых, нейтрализуют друг друга, как два разноименных электрических заряда.

Глашатай объявляет встречу Феогена с Тасоса с афинянином Каллием. Оба входят за ограду к массажистам, которые ожидают их с водой, маслом, губкой и полотенцем. Тридцать тысяч пар глаз пожирают всякое их движение, все эти обычные процедуры обмывания, натираания, — хочется сравнить это с толпой верующих, которые в огромной церкви следят, как диаконы обряжают епископов.

Феоген первым выходит на песок. От толстых лодыжек до твердой, круглой головы, он весь скроен на основе целесообразности. Ни одна частица материала не выбилась за пределы строгого проекта надежности и силы. Он поднимает кулак — и все чувствуют, что здесь ни один удар не пойдет впустую.

Давайте посмотрим на стрелки наших беспокойных, нервных часов, отмечающих наше немощное время, раздробленное на мелкие осколки, — уже три часа пополудни. Кто первым из публики сдаст? Где ты, легендарная смерть философа Фалеса, который сто лет назад умер в Олимпии от солнечного удара? Может, кто из стариков? Вот старейший из них, Дама-

рет из Гераи, выходит из тени одной из сокровищниц, чтобы оказаться поближе к бегу с оружием, который вот-вот начнется. Этот бег он считает как бы своим детищем, которое он создал сорок лет назад. Он защищает глаза козырьком ладони, будто надеется распознать среди блистающей бронзы, которую носят слуги, — шлем, щит и поножи — памятную амуницию своей победы. Но шлемы и щиты неразличимо похожи, а поножей вообще не видать. Их нет, восемь нагих бегунов выходят на старт в шлемах на голове и со щитом в левой руке.

— Теперь бегут так, отец, — говорит Феопомп, его сын. — Капр отменил поножи.

Дамарет фыркает, будто поперхнувшись слишком легким воздухом новых времен:

— Это, конечно, происки Астила!

Он не единственный, кто сегодня против Астила. Двести кротонцев воют от ярости. Этот человек, который в трех олимпиадах принес своему городу, Кротоне, шесть оливковых венков, отрекся от родины и теперь бежит как сиракузец, бежит возмутительно хорошо, прямо к мете, которая в седьмой раз покоряется ему, как послушная собака. Грилл приходит вторым. Фелесикрат — третьим. Среди тридцати тысяч глоток крик кротонцев теряется как беззвучный шепот. Но те, кто сидят ближе, отчетливо слышат:

— Изменник!

— Гиерон купил его, как лошадь!

— Мула своего назову Астилом!

— Он имеет у нас дом, подаренный городом. Надо его разрушить и распахать это место!

— Или превратить в тюрьму!

Гиерон и в самом деле купил Астила. За сколько? Поговаривают о десятках талантов. Новость распространяется с быстротой молнии, крики стихают, люди обеспокоенно переглядываются. Никогда еще не случилось ничего подобного. Его не следует награждать венком! Но Капр зовет его под навес и сплетает у него на голове три веточки дикой оливы.

Игры окончены. Наступающая ночь и день принадлежат победителям. Вот идут они, украшенные венками и лентами, в сопровождении флейтистов в

толпе земляков. Остров Лесбос, чью столицу Митилену покрыл славой Скамандр, Аргос — с Дандисом, Спарта — с Ладасом, Тарент — с Иккосом, остров Тасос — с Феагеном, остров Хиос — с юным Главком, Эгина — с Феогнетом, Афины — с Каллипом, победителем в калыпе; ходили отдельными группами: в центре — победитель, весь в повязках и лентах, рядом с ним — флейтисты. Все распевали старую песнь Архилоха:

Тенелла!

Привет тебе, Геракл, преславный владыка!

Тенелла, победитель!

Привет тебе, Иолай, верный товарищ!

Тенелла!

Привет тебе, Геракл, преславный владыка!

Поющие толпы двигались улочками лагеря, вдоль реки, возвращались к Священной роще, выходили на дорогу, ведущую в широкий мир. Локрийцы из Италии, упоенные двойной победой, шумели громче всех: Агесидам и Эвтим заслужили для них звание первых кулачных бойцов в мире. Вельможи пировали в своих шатрах. Огромный шатер Гиерона принимал Астила, и до поздней ночи сиял удивительным светом сотни масляных светильников, проникавшим сквозь пурпурные стенки.

На рассвете победителей вызвали в Священную рощу. Они шли в процессии, ведомые элланодиками и жрецами. Все остановились у шести алтарей, посвященных двенадцати божествам. Каждый поочередно совершал возлияние вином и сжигал щепотку благовоний. Потом той же дорогой они возвратились в пританей, где олимпийские власти давали в честь победителей торжественный обед.

Уже сворачивались палатки. Божественное перемирие имело свои скупы отмеренные сроки, и не пройдет и месяца, как дороги вновь раскрошатся на малые отрезки, среди множества границ, противоречивых законов, вековых споров. Поэтому все торопились, и в два дня все тракты закурились пылью.

Атлеты перед отъездом отправились на берег Алфея и бросали в воду венки из сосновой хвои, тополя и оливы, как символы олимпийской земли, куда они хотели вернуться. Быстрое течение уносило их, а ат-

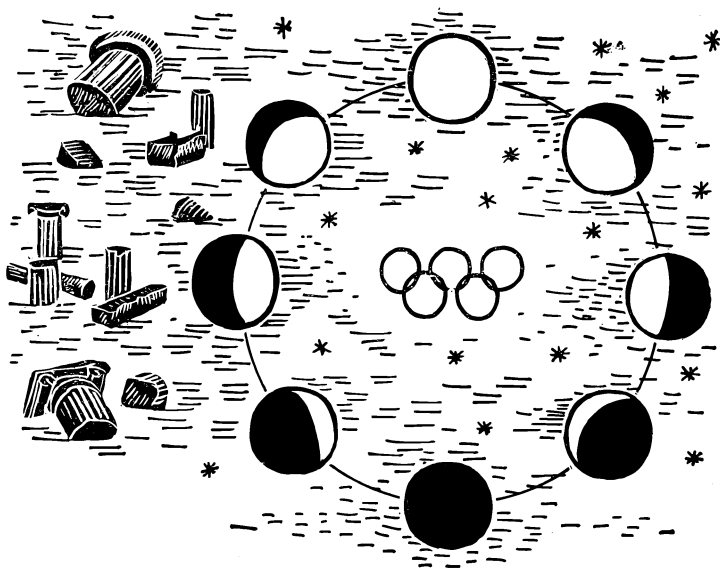
леты бежали, покуда хватало сил, пока на одном из поворотов венки не исчезали из виду.

Некоторые, правда, задерживались по дороге, попадали в водоворот, кружили на отмелях и — о счастье! — течение относило их к противоположному берегу и оставляло в безопасном затоне.

В один из дней последняя повозка скрылась за холмами. Олимпия вернулась к привычному одиночеству — удивительное селение, будто лежащее ближе к небу, чем к земле. В сравнении с сонмом обитающих в ней богов люди составляли небольшую горсточку: два-три жреца, клейдух, несколько чиновников при казне, ксилевс, немного прислуги — всего десятка полтора семей, укрытых в маленьких домишках за пределами священной округи. Им предстояли четыре года тишины, лишённые всяких событий.

В приречной долине осталась огромная свалка после всех этих дней, когда несколько десятков тысяч людей жили здесь, ели, переваривали пищу. Иногда кто-нибудь из олимпийской прислуги слонялся там в поисках забытых вещей, которые на что-нибудь да пригодятся. Иной раз удавалось собрать пригоршню оболлов, и еще столько же поглощала земля на потребу будущим археологам. Ветер гонял с места на место тряпки и обрывки, дожди смывали нечистоты. И наконец, Алфей, вековечный хозяин этой страны, вышел из берегов в своем зимнем разливе.





ЭПИЛОГ

Бессмертное время перебирало чётки лун, и вновь такое же полнолуние собрало людей со всех концов земли. Возвращались знакомые лица: Содам, Эвримен, Каллий, Эргофил, Эфармост, Меналк, Грилл, Социон — все дождались своего венка. Позже других — юный Ксенофонт, который лишь через двенадцать лет дорос до олимпийской оливы, Фелесикрат утешился дельфийским лавром. Потом они терялись в жизни, в богатой и прекрасной жизни V века до н. э., как жнецы в высоких хлебах.

Иккос в течение долгого ряда олимпиад неизменно присутствовал на играх. Он всегда сидел в одной из сокровищниц, среди почетных гостей. Победа принесла ему куда больше, чем он надеялся выжать из своих прижимистых дядьев. Он покинул Тарент и ездил по свету, навещая палестры и гимнасии, где за хорошую плату обучал искусству совершенствовать тело. Его слушали, как оракула. Он воспитал целую

школу тренеров, которые за одно поколение преобразовали всю спортивную жизнь Греции.

Они и впрямь были мастерами своего дела. Тела, доверенные их опеке, подвергались сознательным и систематическим тренировкам. После недолгого наблюдения они безошибочно оценивали врожденные задатки, чтобы затем нацеливать воспитанников на соответствующую им атлетическую дисциплину. Под их началом никто не блуждал, не искал вслепую, а шел напрямик к цели и, как правило, побеждал. Кто годился в бегуны — был бегуном с первой минуты; кулачный боец, борец или панкратиат жили каждый в своем особом мирке, в специальных условиях, в своем распорядке тренировок, со своим пищевым режимом. То, что молодые люди времен Социона считали благородной игрой, расплескиванием излишков от щедрот своей юности, превратилось теперь в серьезное и солидное предприятие. Запретно было искать радость в неограниченной возможности пользоваться своими природными силами, все было разумно ограничено.

Новые стадионы напоминали участки саженцев или школы породистых собак, где тщательно блюдетсЯ чистота кровей. Время от времени появлялись феномены, с которыми не могли бы тягаться обычные люди. С изумлением узнавали о чрезвычайных достижениях, о бросках диска, прыжках, поднятии тяжестей, о беспримерной силе борцов, и не успевали еще прийти в себя, как из других гимнасиев доносились новые вести, еще ошеломительней прежних. По всему греческому миру из уст в уста переходил десяток-другой знаменитых имен, и все с понятным нетерпением ожидали встречи с ними.

Никогда еще игры не собирали столько народа, а игр теперь было куда больше. Каждый город устраивал несколько раз в году во время различных праздников состязания, на которые старались заполучить вышеупомянутые человеческие редкости. Самые знаменитые из них научились капризничать, оттягивать и отказывать, нередко дальнейшее путешествие не окупалось жалкой наградой. Каждый из них имел целые горы венков, лент, всяких отличий, не говоря уже о деньгах, вещах, домах, подаренных благодарными согражданами, или пожизненном содержании. Не хва-

тало возвышенных слов, чтобы воспеть их славу, и каждый второй величался «первым атлетом всех времен»; они присваивали себе титул «наследника Геракла», их памятные таблицы были заполнены длинными рядами самых пышных эпитетов. Однако все еще казалось, что невозможно ничем достойно вознаградить их за честь, какую они оказывают человечеству, являясь его частью, несмотря на то что резвость ног и сила кулаков дают им право принадлежать к сверхчеловеческим существам. Многие из них постепенно превращались в граждан мира — столько раз при разных обстоятельствах они ссылались на иное происхождение.

Обычный человек, который, как и должно нормальному эллину, имел за спиной детские годы палестры, с завистью заглядывал в новые гимнасии. Он чувствовал себя неким полевым цветком, видящим сквозь стекла теплицы своих собратьев, которые благодаря особенным условиям разрастаются до неслыханной пышности.

По одним только запахам из кухни можно было понять накладность такого воспитания. Обычный человек питался овощами, творогом, фруктами, рыбой, а мясо видел редко, по праздникам; здесь же от котлов поднимался пар нескончаемого пиршества. Как убога и наивна была памятная рыбка Иккоса, всколыхнувшая весь элидский гимнасий! Несомненно, она была из недорогих. И сам Иккос уходил все дальше в прошлое, и лет через сто после смерти казался тем, кто от него произошел, каким-то странным реликтом скромной и еще неразвитой эпохи.

В новых гимнасиях у каждого была личная диета — своя у кулачного бойца, своя у борца. Последний вообще питался в основном мясом, чтобы увеличить вес и объем мускулатуры. Ему подавали огромные порции свинины, жирных морских рыб, пшеничную булку с маком. И все это было взвешено и отмерено, за всем следил врач, который заботился о его пищеварении, стуле, а в некоторых случаях лично проверял качество испражнений. В банях его не покидал бальнеолог. Каждый день он имел свои обливания, души, короткие минуты парилки, мгновенные погружения в холодную воду — и все это распределялось в зависимости от веса и темперамента атлета:

обращались даже за советом к созвездию, под которым он родился. А потом определяли часы прогулок и сна, не давали сделать лишнего движения, тренинг же был разложен в кропотливых таблицах так, чтобы не ушло впустую ни крупицы энергии этих бесценных человеческих глыб. Их жизнь протекала между столом, постелью, ванной и руками массажистов. Их никогда не оставляли без надзора — как детей, правда детей-великанов, но все же по-детски хрупких, которых любое дуновение жизни могло загубить.

Все это было слишком дорого, чтобы многие могли этими чудесами пользоваться. Ради такого совершенствования уходили от жизни, как уходят в монастырь, и, не выполняя никакой полезной работы, должны были иметь средства, чтобы существовать в течение ряда лет. Это могли себе позволить только люди состоятельные или те, кто подавал большие надежды в будущем покрыть доходами вложенный в них капитал. Занятие атлетикой вошло в жизнь как особая профессия, очень хорошо оплачиваемая и весьма почетная. Конечно, об этом не говорилось открыто, и считалось дурным тоном обвинять атлетов в том, что они гоняются за прибылями. Молчаливая договоренность давала им возможность спокойно сохранять видимость строгой добродетели при основательных доходах.

Народ, который полвека назад в известном смысле состоял сплошь из атлетов, когда каждый гражданин, если он не был калекой, был готов участвовать в любых соревнованиях на стадионе и сохранял эту способность до самой старости, народ этот отрекся от своих притязаний в пользу горстки избранных. Выработалось общее мнение, что поскольку решительно невозможно в обычных условиях угнаться за буйством рекордов, то легче всего отдыхать себе на скамье для зрителей среди пассивных эмоций. Прежде всего позаботились об этой скамье, и стадионы застроились рядами удобных сидений.

Они давали возможность легче переносить долгие зрелища, но не уберегали от скуки. Новый, скучающий, зритель, незнакомый прежним векам, равнодушно наблюдал бег или пентатлон, которые, несмотря ни на что, сохранили в себе изрядную долю благодательства, но в своей простоте казались ему нудными и

бесцветными. Гвоздем игр были теперь борьба, кулачный бой и панкратий. Боксер легче других делался идолом толпы, при условии что он не щадил ни самого себя, ни противника. Ему для этого служили особенные перчатки, и как же они далеки были от прежних мягких ремней, оберегающих пальцы! Это были многослойные свертки твердой и грубой кожи, сработанные таким образом, что кулак достигал в них силы удара железом. Расплющивали друг другу носы и уши, дробили челюсти — это были почетные раны, которые скульпторы воспроизводили в бронзе с величайшей точностью.

Искусство должно было пройти школу натурализма, чтобы суметь представить точный портрет этой новой разновидности homo sapiens'a. Оно создавало фигуры, поражающие колоссальным количеством мяса и мускулов, сидящие, прислоненные к дереву или колонне, в бездействии чудовищной силы, которая выглядит здесь только бременем. И оно не чуралось изображать их лица, донеся до нас несколько образчиков абсолютной животности — с узкими лбами, пустыми глазами, приплюснутыми носами, с губами как два пласта сырого мяса, и все это к тому же терялось в дикой щетине. В самом конце этой галереи появились во времена римских императоров еще более отталкивающие типы, которые встречаются на мозаиках, где атлет являет собой какое-то чудовище далеких геологических эпох, что-то вроде человеческого ихтиозавра с гигантским туловищем и необыкновенно маленькой головкой, в которой трудно предположить наличие мозга.

Довольно скоро научились сочетать восхищение профессиональными атлетами с презрением к ним. Каждый считал, что с ними невозможно сравниться, но никто не хотел походить на них. Уважающие себя молодые люди если и мечтали о венках, то скорее о тех, какие можно заслужить в конных скачках. Только в глухих местах, куда не достигали новые веяния, где-нибудь в Аркадии, в Эпире, в Этолии и даже в Фессалии, существовали еще гимнасии, оживлявшиеся прежним духом, и выходили из них атлеты-любители, которые еще время от времени оказывались в числе победителей. Но массовый спорт теперь свелся к гимнастическим упражнениям и подвижным иг-

рам для подрастающего юношества или же в своей простейшей форме служил для закалки солдата.

Цицерон, отправляясь в Грецию, надеялся увидеть там живые статуи, разгуливающие по улицам, и был поражен, до чего мало молодых афинян могли похвалиться настоящей красотой. Все примирились с видом нездоровой кожи, сутулой спины, впалой груди, тонких ног, отвислого живота — со всеми этими формами угасающего человечества, заточенного в больших городах и тесных домах. И врачи прописывали скромные дозы лечебной физкультуры народу, который первым открыл глаза миру на красоту здорового тела.

Среди этих перемен Олимпия продолжала сохранять свое значение. От Священной рощи осталось одно название, которое пыталась оправдать группка деревьев, уцелевших по соседству со священной оливой. Все поглотили новые строения. Великолепный храм Зевса таил в своем нутре шедевр Фидия, повсюду виднелись портики и колоннады. Статуи победителей втискивались во всякое свободное пространство, их были сотни, потом тысячи — целый отдельный мир. В нем жило вечно юное поколение, не тронутое никаким изъязном.

Олимпия покорила переменам времени, не поступившись ни одним из своих догматов. Записанное века назад на священном диске было законом, который можно толковать, но нельзя нарушать. Построили палестру и гимнасий, отвечавшие новым требованиям, и в последние дни перед играми атлеты проходили в них подготовку. Атлеты по-прежнему приносили присягу и чаще всего бывали ей верны. Подкуп противника случался крайне редко, и если его обнаруживали, виновного присуждали к большому штрафу. За нарушение священного перемирия Спарту исключили из игр. Лихаса, члена спартанской царской семьи, публично выпороли за нарушение постановлений элланодиков. Преодолели даже самое трудное: проблему греческого происхождения участников. Правило соблюдалось, однако новым нациям, стремившимся участвовать в играх, сочиняли соответствующую метрику. Таким образом зачислили в греки македонцев, позже — римлян и, наконец, чуть ли не весь свет. Стойкость Олимпии поддерживала дух у

многих, и в самые трудные времена от нее исходили романтические веяния, которые возвращали чахнувшие гимнасии к прежним идеалам.

Непрекращающаяся война сталкивала между собой греческие племена, рушилось величайшее могущество, меч Александра перекраивал Восток, парили римские орлы, а Олимпия, как прежде, требовала мира на время своего лунного праздника. Было большим облегчением вдохнуть тишину элейской земли в такое время, когда весь остальной мир жил в кровавом зареве пожарищ. Две недели не омраченного ничем существования заставляли почувствовать, что мир не потерял бы своей привлекательности, если бы люди перестали думать о взаимном уничтожении. Иногда Олимпия превращалась в истинную Лигу Наций. В начале пелопоннесской войны представители Митилены подали на олимпиаде жалобу на тиранию Афин и потребовали автономии для своей родины; Горгий, знаменитый софист, выявил предательский сговор Спарты с персидским царем; бесчисленные союзы, договоры и декреты о свободе вначале объявлялись здесь и вырезались на каменных плитах. Через Олимпию вела самая прямая дорога к людскому вниманию и памяти, и на ней встречались малые и большие фигуры, обычные и незаурядные, цари и римские императоры оставляли на ней свой след.

По греческой хронологии, первая олимпиада состоялась в 776 г. до н. э., а последняя, двести девяносто третья, в 393 г. н. э. Тысяча сто семьдесят лет жизни — это беспримерно долгий срок. Однако в поздней старости Олимпия, по обыкновению многих стариков, прибавляла себе годы, и сохранился диск с надписью, определяющей возраст игр в двадцать веков. Бабушка греческого спорта превышала жизнеспособностью все, что ее окружало. Мир, который родился вместе с ней, распадался в прах. Дороги, по которым двигались паломники, проходили через руины городов, от коих остались лишь названия, через одичавшие, обезлюдившие земли. Сама Олимпия была изранена, ее покинули ценнейшие статуи, многие алтари погасли, как будто смерть коснулась даже самих небес. Эллинская кровь, распылившись по трем континентам, редко теперь струилась в жилах участников. Последний из победителей, какого сохранила

история, не имел ни капли этой бесценной крови, которая в былые времена не выносила ни малейшей примеси, чью чистоту исследовали с такой тревожной, с такой суеверной дотошностью. Это был армянский князь Вараздат из рода Аршакидов, который в 385 году получил венок за кулачный бой. Он не только не был греком, но принадлежал к племени, составлявшему некогда часть персидского царства, и может быть, кто-либо из его предков, захваченных под Саламином или Платеями, находился среди пленников, обслуживающих лошадей в дни великой семьдесят шестой олимпиады.

Трудно представить, как выглядели игры в их последние годы, однако они не были чем-то незначительным, если владетельные князья принимали в них участие. Олимпия не умерла сама по себе. В 393 г. декрет императора Феодосия I запретил языческое празднество. Декрет, вероятно, был прочитан во время игр. Кто-нибудь из высоких сановников христианского монарха, стоя на террасе сокровищниц, призывал собравшихся разъехаться по домам, а состязающихся — прикрыть свою наготу. Его, несомненно, сопровождали несколько монахов, которые по примеру святого Пахомия выступали против гимнасиев, бань и телесной опрятности. Они отняли у жрецов ключи от храмов, чтобы разбить статуи и подложить огонь. Два года спустя Аларих, вождь гóтов, отступая перед византийским полководцем Стилихоном, скрывался в лесистых горах как раз напротив Олимпии. Орды варваров шатались по долине, поили лошадей в Алфее и заглядывали в мертвые строения в поисках сокровищ. Во всей округе уже не было ни души.

Однако человек нехотя оставляет места, которые слишком долго ему служили. В V веке Олимпия снова заселилась. Деревня, никогда не умирающая деревня, противостоящая всяческим социальным переворотам, самосейная, как сорняк, понастроила убогие мазанки, слепленные из фрагментов развалин, которые были под рукой. Крестьяне пахали землю, собирали виноград, растущий на склонах холмов. Мастерскую Фидия, большой кирпичный дом, в котором афинский скульптор создал своего Зевса, превратили в византийскую церковь с тремя нефами и пристроенной к восточной стене абсидой. Герайон, сокровищ-

ницы, гимнасий, палестра, храм Зевса и десятки других сооружений еще держались. Их камни употребили на постройку крепости в те времена, когда вандалы опустошали западные берега Греции.

Но уже являлись новые люди. Они пришли сюда той же самой дорогой, которой некогда явились первые обитатели элидской земли, дорогой всех исторических переселений, с севера на юг, переплыв узкое море, отделяющее Пелопоннес от центральной Греции. То были славяне. Греческая речь умолкла, и в горах и селениях прижились названия, принадлежащие нашему языку. Пришельцы явились в неудачную минуту. Пелопоннес дважды в продолжение VI в. потрясая чудовищными судорогами, будто не желая принять чужие народы. От Олимпии не осталось камня на камне. Что не обрушилось от землетрясения, то завалила земля. В конце концов, Алфей и Кладей, постоянно разливаясь и меняя русло, покрыли руины глубоким четырехметровым слоем песка.

Места эти стали абсолютно пустынные. Долины густо поросли кустарником, холмы покрылись лесами. Растительность питала влагой божественная река, неся в своем неутомимом течении холод аркадских ущелий. Вернулся давным-давно исчезнувший бобер и поселился над Алфеем, как во времена свайных построек первобытного человека. Бесчисленные луны сменяли свои фазы от новолуния к полнолунию, за которыми не следили ничьи глаза. Временами кто-нибудь из дальних поселений, лежавших за холмами, охотясь на зверя, блуждал среди миртов и сосен и, возвратясь к своим, не умел рассказать, где был: это место не имело никакого названия.

В 1875 г. под лопатами немецких археологов стали возникать руины Олимпии. Раскопки продолжались шесть лет. Останки священного округа лежали на дне раскопанной земли, серо-белые и искрошенные, как кости в открытой могиле. Но дух, погребенный вместе с ними в течение пятнадцати столетий, был жив. Обнаружение Олимпии стало призывом к возрождению игр. Первые попытки, сразу же после начала раскопок, предприняли в Афинах; были они робки и неуклюжи, каким, вероятно, было некогда начало

самой Олимпии. Однако вскоре, в 1896 г., открылась I Олимпиада нашего времени. Дух греческой атлетики начал свою вторую жизнь, чтобы повторить в ней все прежние достижения и ошибки.



КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ГРЕЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ, ИМЕН И НАЗВАНИЙ



Авгий — мифический царь Элиды, хозяин неисчислимых стад.

Агора — рынок.

Акрорея — гористая местность на востоке от Элиды.

Альтис — в элейском наречии — лес; так называли священную округу Олимпии, где располагались храмы, алтари и статуи.

Апоптигма — часть пеплоса (женской одежды), закрывающая грудь.

Арибалл — маленький шарообразный керамический сосуд для оливкового масла; то же, что и бомбилий, который был чуть продолговатым.

Артабаз — один из персидских военачальников времен похода Ксеркса на Грецию.

Архилох — греческий поэт VII в. до н. э.

Архитеор — предводитель процессии.

Архитрав — часть перекрытия, сразу над капителями колонн.

Архонты — высокие афинские сановники, в чьи обязанности входило ведение судопроизводства и выполнение некоторых обрядов.

Басилей — жрец Кроноса в Олимпии; название имеет таинственную связь с царским титулом: базилевс.

Борей — бог северного ветра.

Булевтерий — здание, в котором располагался Олимпийский Совет и где по-

мещались также казна и секретариат, ведущий учет атлетов, архивы и т. п.

Гальтеры — гантели для прыжков.

Гелиос — бог солнца.

Герайон — храм богини Геры.

Гидрия — продолговатый сосуд для воды.

Гипподром — место для конных состязаний.

Гоплитодром — бег с оружием. **Диавлос** — «двойной бег» на два стадия.

Дидрахма — крупная монета в две драхмы.

Диоскуры — сыновья Зевса Кастор и Полидевк; божества, особо почитаемые в Спарте.

Иам — мифический предок рода олимпийских прорицателей, сын бога Аполлона и Эвадны.

Ида — священная гора на Крите.

Илоты — государственные рабы в Спарте, которые при служивали частным лицам.

Истм — коринфский перешеек, место известных в древности игр.

Ифит — древний царь Элиды. Вместе с Клесфеном из Писы и спартанским Ликургом заключил род перемирия, которое включало в себя постановление об олимпийских играх.

Ихор — кровь богов, бесцветная и прозрачная.

Кадм — мифическая личность; происходил якобы из Фи-

- никии и научил греков алфавиту.
- Каллистифанос — так называли оливу, с которой брали в Олимпии ветки для венков победителей.
- Кенотаф — пустая могила. Умершему на чужбине нередко на родине ставили кенотаф, около которого и совершали надгробные обряды.
- Кипсел — царь Коринфа в VII в. до н. э. В олимпийском Герайоне хранился так называемый «Сундук Кипсела», ценный памятник с красивыми барельефами, в котором якобы Кипсел прятался ребенком от убийц.
- Клейдух — ключарь.
- Кронос — отец Зевса и его предшественник на троне богов.
- Куреты — полубоги, чаще всего появляющиеся в мифах как опекуны младенца Зевса в горах на о. Крит.
- Кьятос — небольшой сосуд и мера жидкости.
- Мета — финиш в коротком беге, поворотный столб в более длинном.
- Мина — мера веса, равная 341 грамму.
- Милон Кротонский — полулегендарный атлет VI в. до н. э. О его силе рассказывали чудеса.
- Наяда — божество источника.
- Навкратис — греческая колония в дельте Нила.
- Немея — красивая местность близ Коринфа со священной рощей Зевса, где также происходили игры.
- Обол — мелкая аттическая монета.
- Олимпионик — победитель в олимпийских играх.
- Опистодом — задняя пристройка к храму.
- Палестра — гимнастическая школа, как правило для мальчиков; гимнасии служили старшей молодежи.
- Панкратий — род состязаний, соединение борьбы и кулачного боя.
- Парфений — в календаре Элиды — месяц, выпадающий на конец июля — начало августа. В разных концах Греции были разные календари, и месяцы повсюду назывались по-разному.
- Пентатлон — пятиборье; в Греции — бег, прыжки в длину, метание диска, метание дротика, борьба.
- Пеплос — длинная верхняя одежда гречанок.
- Пиндар — знаменитый греческий поэт V в. до н. э.
- Пифийский лавр — лавровый венок победителей в пифийских играх, происходивших раз в четыре года в Дельфах.
- Пифос — большой глиняный сосуд в форме бочки.
- Пританы (в Афинах) — 50 членов Большого Совета, который в течение 35 дней улаживал государственные дела и руководил народным собранием. Пританы заседали, а также питались в пританее, который был в каждом греческом городе тем, чем в нынешней Европе — ратуша.
- Проксен — гражданин, исполняющий по отношению к чужому государству обязанности нынешнего консула.
- Сальмоней — мифический царь, святоотец, которого Зевс убил молнией.
- Симонид Кеосский — поэт (556—586 гг. до н. э.).
- Силен — лесное божество, спутник Диониса.
- Сирены — морские демоны; «слышать сирен» — это значило «едва не утонуть».
- Спондавы — жрецы низшего ранга, игравшие на флей-

тах во время церемонии жертвоприношения.

Спондофор — олимпийский жрец; их было трое, и одна из важнейших их функций — объявление во всех греческих городах о начале олимпийских игр.

Статер — греческая серебряная или золотая монета.

Тетрагон — квадрат; название части элидского гимнасия.

Тимпанон — треугольное пространство на верхушке фасада храма, заполненное скульптурами.

Тифон — мифическое чудовище, с которым некогда сражались греческие боги.

Триерарх — командир корабля.

Фиал — чаша для вина.

Хамина — древнейшее божество земли и смерти.

Хариты — богини красоты и изящества.

Хион из Спарты — знаменитый

атлет, многократный победитель в играх.

Хитон — нижняя часть греческой одежды, нечто вроде рубахи.

Хлена — плащ.

Хойникс — мера емкости, чуть больше литра. 48 хойниксов составляли один медимн, то есть 50 с лишним литров.

Эак — мифический герой, которого чтили на о. Эгина.

Элланодикайон — дом, где жили и работали элланодики, судьи в олимпийских играх.

Эпимелет — секретарь Олимпийского Совета и одновременно управляющий олимпийской казной.

Эфеб — юноша в возрасте 18—20 лет.

Ясон — мифический герой, возглавлявший экспедицию аргонавтов за золотым руном.



СОДЕРЖАНИЕ



От редакции
5

Часть первая	В гимнасии 7
-----------------	-----------------

Глава первая	Священное перемирие 8
Глава вторая	Край вечного единения 14
Глава третья	Пора оливы 19
Глава четвертая	На священной беговой полосе 29
Глава пятая	Вселенная 44
Глава шестая	Иккос из Тарента 58
Глава седьмая	Бросок Феллоса 68
Глава восьмая	За гранью жизни 79

Часть вторая	Олимпия 91
-----------------	---------------

Глава первая	Луна над Олимпией 92
Глава вторая	Под шатрами 98
Глава третья	Торжище 112
Глава четвертая	Зевсова роща 122
Глава пятая	Ветка дикой оливы 138
Глава шестая	День Социона 158
Глава седьмая	Праздник полнолуния 183
	Эпилог 206

Ян Парандовский
ОЛИМПИЙСКИЙ ДИСК

Издание получило диплом Оргкомитета «Олимпиада-80»



Заведующий редакцией	В. Л. Штейнбах
Редактор	З. В. Кудрявцева
Художник	И. У. Тер-Аракелян
Художественный редактор	А. Ю. Литвиненко
Технический редактор	О. П. Макеева
Корректор	Л. В. Чернова

ИБ № 870. Сдано в набор 11.07.79. Подписано к печати 03.01.80. Формат 84×108/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Банниковская». Высокая печать. Усл. п. л. 11,76. Уч.-изд. л. 11,06. Тираж 50 000 экз. Издат. № 6231. Зак. № 353. Цена 1 р. 60 к.

Ордена «Знак Почета» издательство «Физкультура и спорт» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 101421. Москва, Каляевская ул., 27,

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28.

В 1980 г. в издательстве
«Физкультура и спорт»
выйдут следующие книги,
посвященные Московской олимпиаде:

Базунов Б. А. Эстафета олимпийского огня. Буклет.

Красочный буклет, в котором рассказывается о том, как и где зажигается олимпийский огонь, какой путь проходит он от Олимпии к месту очередных игр. Большое внимание автор уделяет эстафете олимпийского огня Игр XXII Олимпиады в Москве.

Для широкого круга читателей.

Куда уходят чемпионы. Сборник очерков. Сост. Л. А. Сапожников.

Сборник очерков, посвященных судьбам олимпийских чемпионов в нашей стране. На страницах книги читатель встретится с А. Воробьевым, Ю. Власовым, Н. Думбадзе и многими другими выдающимися олимпийцами, узнает о том, как сложилась их жизнь после ухода из большого спорта.

Для широкого круга читателей.

Олимпиада-80. День за днем. Справочник. Автор-сост. С. Н. Кружков.

Книга содержит подробное расписание соревнований XXII Олимпийских игр, рассказ обо всех номерах программы Олимпиады и другой информационно-справочный материал.

Для массового читателя.

Москва-80. Настенный календарь.

Подарочный настенный календарь, посвященный Играм XXII Олимпиады 1980 г. Читатель найдет в нем расписание соревнований по дням, данные о количестве ежедневно разыгрываемых наград и другую информацию, касающуюся хода олимпийских состязаний.

Для массового читателя.

Репин Л. Б. Ключ к успеху.

Эта книга рассказывает о том, как наука и техника, вторгаясь в мир спорта, помогают спортсменам добиться высоких результатов, превзойти достижения, которые еще недавно считались вечными.

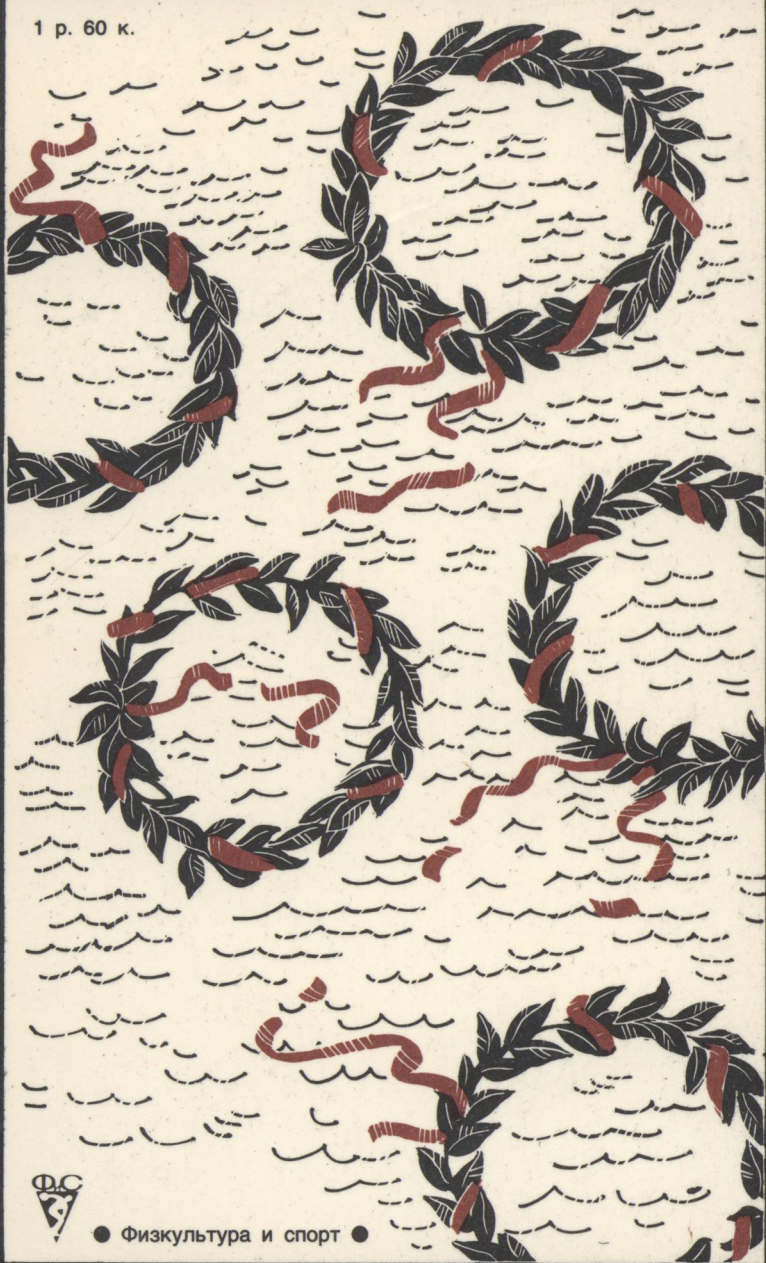
Для широкого круга читателей.

Справочник олимпийского телеболельщика. Сост. Г. А. Степанидин.

Справочник посвящен Московской олимпиаде. Любитель спорта получит ответ на вопрос: «Как смотреть спорт по телевизору?», узнает много интересного и поучительного о видах спорта, входящих в олимпийскую программу.

Для массового читателя.

1 р. 60 к.



● Физкультура и спорт ●